



Известнейший французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1947 года, классик мировой литературы Андре Жид (1869–1951) любил называть себя «человеком диалога», «человеком противоречий». Он никогда не предлагал читателям определенных нравственных решений, наоборот, всегда искал ответы на бесчисленные вопросы о смысле жизни, о человеке и судьбе. Многогранный талант Андре Жида нашел отражение в его ярких, подчас гротескных произведениях, жанр которых не всегда поддается определению.

- [Жид Андре](#)
 - [Книга первая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [Книга третья](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [Книга четвертая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [Книга пятая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)

- [VI](#)
- [VII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
-

Жид Андре **Подземелья Ватикана**

Жаку Копо

Книга первая

АНТИМ АРМАН-ДЮБУА

Что до меня, то мой выбор сделан. Я остановился на социальном атеизме. Этот атеизм я излагал на протяжении пятнадцати лет в ряде сочинений...

*Жорж Палант. Философская хроника «Mercure de France»
(декабрь 1912 г.).*

Лета 1890, при папе Льве XIII, слава доктора X, специалиста по ревматическим заболеваниям, привлекла в Рим Антима Армана-Дюбуа, франк-масона.

— Как! — восклицал Жюлиус де Баральюль, его свояк, — вы едете в Рим лечить тело! О, если бы вы поняли там, насколько тяжелее больна ваша душа!

На что Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием отвечал:

— Мой бедный друг, вы посмотрите на мои плечи.

Незлобивый Баральюль невольно подымал взгляд к плечам свояка; они дрожали, словно сотрясаемые глубоким, неодолимым смехом; и было поистине прискорбно видеть, как это крупное, наполовину параличное бело тратит на подобное кривляние остаток своей мышечной пригодности. Нет, что уж! Каждый, видно, оставался при своем; красноречие Баральюля здесь не могло помочь. Разве что время? Тайное воздействие святых мест... С видом безмерного сокрушения Жюлиус говорил всего только:

— Антим, мне очень больно за вас (плечи тотчас же переставали плясать, потому что Антим любил свояка). Если бы через три года, к юбилею, когда я к вам приеду, я мог увидеть, что вы одумались!

Вероника, та ехала в совсем ином умонастроении, нежели ее супруг она была так же благочестива, как и ее сестра Маргарита и как сам Жюлиус, и это продолжительное пребывание в Риме отвечало одному из самых заветных ее желаний; свою однообразную, неудавшуюся жизнь она загромаждала мелкой церковной обрядностью и, не имея потомства, дарила идеалу всю ту заботливость, которой от нее не требовали дети. Увы, у нее не было особой надежды привести к богу своего Антима! Она давно уже знала, на какое упрямство способен этот широкий лоб, загородившийся отрицанием. Аббат Флонс ее предупреждал:

— Самые неколебимые решения, сударыня, — говорил он ей, — это дурные. Надейтесь только на чудо.

Она даже перестала печалиться. С первых же дней их поселения в Риме каждый из супругов порознь наладил свою обособленную жизнь: Вероника — занимаясь хозяйством и молитвами, Антим — научными исследованиями. Так они жили рядом, вплотную, и поддерживали друг друга, повернувшись друг к другу спиной, благодаря чему между ними царил своего рода согласие, над ними витало как бы полублагополучие, причем каждый из них находил в оказываемой другому поддержке тайное применение для своей добродетели.

Квартира, которую они сняли при посредстве агентства, обладала, подобно большинству итальянских жилищ, наряду с неожиданными достоинствами, ощутительными неудобствами. Занимая весь второй этаж палаццо Форджетти, на виа ин Лучина, она располагала весьма недурной террасой, где Вероника тотчас же задумала разводить аспидистры, которые в Париже так плохо растут в комнатах; но для того, чтобы попасть на террасу, надо было пройти через теплицу, которую антим немедленно превратил в лабораторию, условившись, что через нее он будет пропускать от такого-то до такого-то часа.

Вероника бесшумно отворяла дверь и шла крадучись, потупив взор, подобно послушнику, проходящему мимо непристойных «граффити», ибо ей претило видеть, как в глубине комнаты, выступая из кресла с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима склоняется над каким-то зловредным делом. Антим, со своей стороны, делал вид, будто ее не слышит. Но, как только она проходила обратно, он тяжело вставал с места, волочился к двери и раздраженно, сжав губы, повелительным движением указательного пальца — чик! — задвигал задвижку.

Близилось время, когда, через другую дверь, Беппо-добытчик должен был явиться за

поручениями.

Мальчуган лет двенадцати-тринадцати, ободранный, сирота, бездомный, он попался на глаза Антиму вскоре же после его приезда в Рим. Возле гостиницы на виа ди Бокка ди Леоне, где на первых порах остановились супруги Арман-Дюбуа, Беппо привлекал внимание прохожих при помощи саранчи, спрятанной под пучком травы в камышевой мережке. Антим дал за насекомое шесть сольдо и, пользуясь своими скудными сведениями в итальянском языке, кое-как объяснил мальчугану, что на квартире, куда он завтра переезжает, на виа ин Лучина, ему скоро понадобится несколько крыс. Все, что ползает, плавает, ходит и летает, служило ему материалом. Он работал на живом теле.

Беппо, прирожденный добытчик, приволок бы capitoлийского орла или львицу. Этот промысел ему нравился и отвечал его грабительским наклонностям. Ему платили по десять сольдо в день; кроме того он помогал по хозяйству. Вероника вначале косилась на него, но, увидев, что он крестится, проходя мимо мадонны, украшавшей северный угол их дома, она простила ему его лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, хворост; он даже нес корзину, сопровождая Веронику на рынок по вторникам и пятницам, то есть в те дни, когда Каролина, привезенная из Парижа служанка, бывала слишком занята.

Веронику Беппо не любил; но зато он привязался к ученому, который, немного погодя, вместо того, чтобы самому с трудом спускаться во двор за принесенными жертвами, позволил мальчугану являться в лабораторию. В нее был ход прямо с террасы, которая сообщалась с двором потайной лестницей. В угрюмом уединении, сердце Антима слегка билось, когда по каменным плитам приближалось тихое шлепанье босых ножек. Но он не подавал виду; ничто не отвлекало его от работы.

Мальчуган не стучался в стеклянную дверь: он об нее скребся; и так как Антим, согнувшись над столом, не отвечал, то он переступал порог и звонким голосом восклицал: «реггессо?», наполнявшее комнату лазурью. По голосу его можно было принять за ангела; это был подручный палача. Какую новую жертву принес он в этом мешке, который он кладет на пыточный стол? Иной раз, поглощенный работой, Антим не сразу развязывал мешок; он кидал на него быстрый взгляд; если холст шевелился, он был спокоен: крыса, мышь, воробей, лягушка, — все было впору этому Молоху. Случалось, что Беппо ничего не приносил, но он все-таки входил; он знал, что Арман-Дюбуа его ждет, хотя бы с пустыми руками; и я был бы рад утверждать, что, когда молчаливый мальчуган склонялся рядом с ученым над каким-нибудь отвратительным опытом, этот ученый не испытывал тщеславной гордыни ложного бога, чувствуя, как удивленный взгляд малыша останавливается то, полный ужаса, на животном, то, полный восхищения, на нем самом.

Прежде чем взяться за человека, Антим Арман-Дюбуа хотел всего лишь свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Едва этот термин был изобретен, как все другое перестали понимать; целый разряд психологов ничего не желал знать, кроме «тропизмов». Тропизмы! Какой неожиданный свет излучало это слово! Организм явно подчинялся тем же воздействиям, что и гелиотроп, когда безвольное растение обращает свой цветок к солнцу (что легко сводится к нескольким простым физическим и термохимическим законам). Космос оказывался успокоительно бесхитростным. В самых удивительных жизненных движениях можно было установить полнейшую зависимость от действующей силы.

Для достижения своих целей, для того, чтобы принудить покоренное животное сознаться в своей простоте, Антим Арман-Дюбуа недавно изобрел сложную систему ящичков с переходами, трапами, лабиринтами, отделениями, где находились либо пища, либо ничего или же какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами всевозможных цветов и форм — дьявольские инструменты, тотчас же прогремевшие на всю Германию под именем «Vexierkasten» и

позволившие новой психо-физиологической школе сделать дальнейший шаг к неверию. И, чтобы воздействовать порознь на то или иное чувство животного, на ту или иную область мозга, он одних ослеплял, других оглушал, оскоплял их, обдирал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы бы сочли совершенно необходимым и без которого это животное, для поучения Антима, обходилось.

Его «Сообщение об условных рефлексах» произвело переворот в Упсальском университете; разгорелись ожесточенные споры, и в них принял участие весь цвет заграничной науки. Между тем в уме Антима роились все новые вопросы; и, оставляя коллег препираться, он направлял свои исследования по новым путям, намереваясь выбить бога из самых потаенных его окопов.

Ему мало было огульного утверждения, что всякая деятельность сопровождается изнашиванием, что, работая мышцами и чувствами, животное нечто тратит. После каждой траты он спрашивал: сколько? И, когда изнуренный пациент стремился оправиться, Антим, вместо того, чтобы его накормить, взвешивал его. Привнесение новых элементов слишком усложнило бы опыт, состоявший в следующем: на весы ежедневно клались шесть голодающих, связанных крыс; две слепых, две кривых и две зрячих; этим последним маленькая механическая мельница непрерывно утомляла зрение. Каково будет соотношение потерь после пяти дней голодовки? Каждый день, в двенадцать часов, Арман-Дюбуа заносил на особые таблички новые торжествующие цифры.

Близился юбилей. Арманы-Дюбуа ждали Баральулей со дня на день. В то утро, когда получена была телеграмма, сообщавшая, что они приезжают вечером, Антим пошел купить себе галстук.

Антим выходил мало: он старался делать это как можно реже, потому что двигался с трудом; Вероника сама покупала для него все необходимое или же приглашала мастеров на дом снять мерку. Антим не следил за модой; но, хотя галстук ему был нужен самый простой (скромный черный шелковый бант), он все-таки желал его выбрать сам. Серый атласный пластрон, который он купил для дороги и носил, пока жил в гостинице, постоянно выскакивал у него из жилета, как всегда, очень открытого; Маргарите де Баральуль наверное показался бы слишком затрапезным кремовый фуляр, которым он его заменил, заколов булавкой с большой старинной камеей, не представлявшей особой цены; напрасно он бросил готовые черные бантики, которые он носил в Париже, и даже не захватил с собой хотя бы одного для образца. Какие фасоны ему теперь предложат? Прежде чем выбрать, он зайдет в несколько бельевых магазинов на Корсо и виа деи Кондотти. Широкие банты для человека пятидесяти лет слишком вольны; требуется, безусловно, совершенно прямой галстук, черный и матовый...

Завтрак подавался в час. Антим вернулся со своей покупкой к полудню, чтобы успеть взвесить животных.

Не то чтобы Антим был кокетлив, но, прежде чем приступить к работе, ему захотелось примерить галстук. В комнате валялся осколок зеркала, служивший ему когда-то для вызывания тропизмов; он прислонил его к клетке и нагнулся над своим отражением.

У Антима были еще густые волосы, зачесанные ежиком, когда-то рыжие, а теперь неопределенного серовато-желтого цвета, как у старого позолоченного серебра; щетинистые брови нависли над глазами серее и холоднее зимнего неба; его высоко и коротко подстриженные баки остались рыжими, как и хмурые усы. Он провел тылом руки по своим плоским щекам, под широким, угловатым подбородком:

— Да, да, — пробормотал он, — надо будет побриться.

Он извлек из конверта галстук, положил его перед собой; вынул булавку с камеей, снял фуляр. Его мощная шея была охвачена полувысоким воротничком, открытым спереди и с отогнутыми углами. Здесь, несмотря на все мое желание излагать одно лишь существенное, я не могу умолчать о шишке Антима Армана-Дюбуа. Ибо, пока я не научусь безошибочно отличать случайное от необходимого, что я могу требовать от своего пера, как не точности и неукоснительности? В самом деле, кто мог бы утверждать, что эта шишка не имела никакого влияния, что она не оказала никакого воздействия на работу того, что Антим называл своей «свободной» мыслью? На свой ишиас он обращал меньше внимания; но этой мелочи он не прощал господу богу.

Это началось у него неизвестно как, вскоре после женитьбы; сначала появился, к юго-востоку от левого уха, там, где начинаются волосы, маленький бугорок; долгое время он скрывал этот нарост под густыми волосами, зачесывая их в этом месте прядью; даже Вероника его не замечала, пока однажды, во время ночных ласк, не нащупала его случайно рукой:

— Что это у тебя тут? — воскликнула она.

И словно опухоли, раз обнаруженной, нечего было больше сдерживаться, она через несколько месяцев достигла размеров куропачьего яйца, потом цесаркина, потом куриного, и так и осталась, а редевшие волосы расходились по сторонам и обнажали ее. В сорок шесть лет Антим мог уже не помышлять о красоте; он коротко остригся и стал носить эти полувысокие

воротнички, у которых своего рода особый выем и прятал шишку, и, в то же время, выдавал ее. Но довольно об Антимовой шишке.

Он повязал шею галстуком. Посередине галстука, сквозь металлическую петельку продевалась лента и накальвалась на подвижной зубок. Хитроумное приспособление, но при первом же соприкосновении с лентой оно отскочило прочь; галстук упал на операционный стол. Пришлось обратиться к Веронике; та поспешила на зов.

— Вот, пришей-ка мне это, — сказал Антим.

— Машинная работа; ничего не стоит, — пробормотала она.

— Действительно, не держится.

Вероника всегда носила на своей домашней кофте, заколотыми под левой грудью, две иголки с продетыми нитками, белой и черной. Подойдя к стеклянной двери, даже не присаживаясь, она принялась за починку. Антим тем временем смотрел на нее. Это была довольно грузная женщина, с резкими чертами; упрямая, как и он, но, в сущности, уживчивая, почти всегда улыбающаяся, так что небольшие усики — и те не придавали ее лицу особой жесткости.

«В ней много хорошего, — думал Антим, глядя, как она шьет. — Я мог жениться на кокетке, которая бы меня обманывала, на ветренице, которая бы меня бросила, на болтушке, от которой у меня трещала бы голова, на дуре, которая бы меня выводила из себя, на ворчунье, как моя свояченица».

И не так сухо, как всегда:

— Спасибо, — сказал он, когда Вероника, окончив работу, уходила.

И вот, в новом галстуке, Антим весь ушел в свое взвешивание. Умолкли все голоса, и снаружи, и в его сердце. Он уже взвесил слепых крыс. Что это значит? Кривые крысы без перемен. Он собирается взвешивать зрячую пару. Вдруг он так резко откидывается назад, что костыль падает на пол. О удивление! Зрячие крысы... он взвешивает их еще раз; но нет, совершенно очевидно: зрячие крысы со вчерашнего дня прибавили в весе! В мозгу вспыхивает: «Вероника!»

С тяжким усилием, подобрав костыль, он кидается к двери:

— Вероника!

Она снова спешит, полная предупредительности. Тогда он, стоя на пороге, торжественно:

— Кто трогал моих крыс?

Ответа нет. Он повторяет медленно, с расстановкой, как если бы Вероника разучилась хорошо понимать по-французски:

— Пока я уходил из дому, кто-то их накормил. Это вы?

Тогда она, набравшись мужества, обращается к нему суть ли не с вызовом:

— Ты морил голодом этих несчастных животных. Я не помешала твоим опытам; я просто...

Но он хватает ее за рукав, подводит, ковыляя, к столу и, указывая на записи:

— Вы видите эти листки, где вот уже две недели я заново свои наблюдения над этими животными: это те самые листки, которых ждет мой коллега Потье, чтобы огласить их в Академии Наук, в заседании семнадцатого мая. Сегодня, пятнадцатого апреля, что я напишу под этими столбцами цифр? Что я должен написать?..

И, так как она молчит, он продолжает, скобля чистое место на бумаге квадратным концом своего указательного пальца, как стилем:

— В этот день, госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, вняв голосу своего нежного сердца, совершила... что я, по-вашему, должен сказать — неловкость? неосторожность? глупость?..

— Напишите лучше: сжалилась над несчастными животными, жертвами нелепого

любопытства.

Он с достоинством выпрямляется:

— Если вы так к этому относитесь, вы понимаете, сударыня, что на будущее время я должен просить вас ходить по дворовой лестнице возиться с вашими плантациями.

— Вы думаете, я ради своего удовольствия захожу в вашу берлогу?

— Избавьте себя от труда входить в нее впредь.

Затем, дополняя эти слова красноречивым жестом, он хватает записи и рвет их на мелкие клочки.

Он сказал: «Вот уже две недели»; на самом деле крысы голодали всего только четвертый день. И это преувеличение обиды, должно быть, истощило его досаду, потому что за столом у него уже ясное чело; он оказывается даже до такой степени философом, что протягивает своей половине примирительную десницу. Ибо еще более, нежели Вероника, он не желает являть этой столь благомыслящей чете Баральулей зрелище раздора, каковой они не преминули бы вменить в вину образу мыслей Антима.

В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Жюлиуса и Маргариту, поезд которых приходит в шесть часов. Антим идет бриться; фуляр он заменил прямым бантом; этого достаточно; он терпеть не может парада и не намерен расставаться ради свояченицы с пиджаком из альпака, белым жилетом в синюю полоску, тиковыми панталонами и удобными черными кожаными туфлями без каблуков, которые он носит даже на улице и которые простительны в виду его хромоты.

Он подбирает порванные листки, восстанавливает их по кусочкам и тщательно переписывает цифры заново, поджидая Баральулей.

Род Баральюлей (Baraglioul, причем gl произносится как «l mouille», на итальянский лад, как в словах «Бролье» (герцог) и «мильоонер») происходит из Пармы. За одного из Баральюли (Алессандро Baraglioli) вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти в 1514 году, несколько месяцев спустя после присоединения герцогства к церковным владениям. Другой Баральюли (тоже Алессандро) отличился в битве при Лепанто и был убит в 1580 году при загадочных обстоятельствах. Было бы нетрудно, хоть и не особенно интересно, проследить судьбы рода вплоть до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и когда Робер де Баральюль, дед Жюлиуса, поселился в По. В 1828 году Карл X пожаловал его графской короной, которую с таким достоинством носил впоследствии Жюст-Аженор, его третий сын (двое старших умерли малолетними), в посольствах, где блистал его тонкий ум и торжествовала его дипломатия.

Второй ребенок Жюста-Аженора де Баральюля, Жюлиус, после женитьбы вполне остепенившийся, в молодости своей знавал увлечения. Но, во всяком случае, он мог сказать по справедливости, что сердца своего он не унизил ни разу. Врожденное благородство и, так сказать, нравственное изящество, сквозившее в малейших его сочинениях, всегда удерживали его порывы от того наклонного пути, по которому их наверное устремило бы его писательское любопытство. Кровь его струилась без кипучести, но не без жара, как то могли бы засвидетельствовать некоторые прекрасные аристократки... И я бы не стал говорить здесь об этом, если бы этого не давали ясно понять его первые романы, чему они отчасти и были обязаны своим большим светским успехом. Избранный состав читателей, способных их оценить, позволил им появиться — одному в «Correspondant», двум другим — в «Revue des Deux Mondes». Таким образом, как бы само собой, еще молодым: он оказался созревшим для Академии; его как бы предуготовляли к ней его статность, умиленная важность взгляда и задумчивая бледность чела.

Антим выказывал великое презрение к преимуществам, связанным с общественным положением, богатством и внешностью, чем постоянно уязвлял Жюлиуса; но он ценил в нем его душевные качества и неумение спорить, благодаря которому свободная мысль нередко одерживала верх.

В шесть часов Антим слышит, как у подъезда останавливается экипаж, в котором приехали его гости. Он выходит их встречать на площадку лестницы. Первым подымается Жюлиус. В своем плоском цилиндре и прямом пальто с шелковыми отворотами, он казался бы одетым скорее для визита, чем для дороги, если бы не шотландский плед, перекинутый через руку; длинный путь никак на нем не отразился. Маргарита де Баральюль идет следом, поддерживаемая сестрой; она, напротив, совсем растерзана, шляпка и шиньон сбились на сторону; она спотыкается о ступени, часть лица закрыта носовым платком, который она к нему прижимает... Когда она подходит к Антиму:

— Маргарите попал в глаз уголек, — шепчет Вероника.

Жюли, их дочь, миловидная девочка девяти лет, и няня, замыкая шествие, хранят унылое молчание.

Зная характер Маргариты, к этому не отнесешься шутя; Антим предлагает послать за окулистом; но Маргарита наслышана об итальянских докторишках и не соглашается «ни за что на свете»; она вздыхает умирающим голосом:

— Холодной воды. Просто немного холодной воды. Ах!

— Дорогая сестрица, — продолжает Антим, — холодная вода, действительно, принесет вам минутное облегчение, оттянув от глаза кровь; но помощи от нее не будет.

Потом, обращаясь к Жюлиусу:

— Удалось вам посмотреть, в чем дело?

— Плохо. Когда поезд останавливался и я хотел взглянуть, Маргарита начинала нервничать...

— Как ты можешь так говорить, Жюлиус! Ты был ужасно неловок. Чтобы приподнять веко, ты начал с того, что вывернул мне все ресницы...

— Хотите, попробую я, — говорит Антим. — Быть может, я окажусь искуснее?

Носильщик внес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.

— Послушай, мой друг, не станешь же ты производить эту операцию в проходе, — говорит Вероника и ведет Баральулей в их комнату.

Квартира Арманов-Дюбуа была расположена вокруг внутреннего двора, куда выходил окнами коридор, начинавшийся от вестибюля и упиравшийся в оранжерею. Вдоль этого коридора тянулись сперва столовая, затем гостиная (огромная угловая комната, плохо обставленная, которой не пользовались), две комнаты для гостей, из которых первую отвели супругам Баральулям, а вторую, поменьше, — Жюли, и, наконец, комнаты Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты, выходя в коридор, сообщались кроме того и меж собой. Кухня и две людских находились по ту сторону лестницы.

— Я вас прошу, не стойте все около меня, — стонет Маргарита. — Жюлиус, ты бы занялся чемоданами.

Вероника усадила сестру в кресло и держит лампу, а Антим хлопочет:

— Он, действительно, воспален. Если бы вы сняли шляпу!

Но Маргарита, боясь, быть может, что ее растрепанная прическа обнаружит свои заимствованные элементы, заявляет, что снимет шляпу потом; ее чепчик с лентами не помещает ей прислониться головой к спинке.

— Таким образом, вы приглашаете меня удалить из вашего глаза сучок, а у меня в глазу бревно оставляете, — говорит Антим с чем-то вроде усмешки. — Это, знаете, не очень-то по-евангельски!

— Ах, я вас прошу, не заставляйте меня слишком дорого платить за вашу помощь.

— Я молчу... Уголочком чистого платка... вижу, вижу... да не бойтесь же, чорт возьми! Смотрите в небо!.. вот он.

И Антим удаляет кончиком платка еле заметный уголек.

— Благодарю вас! Благодарю. Теперь оставьте меня; у меня ужасная мигрень.

Пока Маргарита отдыхает, пока Жюлиус распаковывает с няней вещи, а Вероника следит за приготовлениями к обеду, — Антим занят Жюли, которую он увел к себе в комнату. Он помнил свою племянницу совсем маленькой и теперь с трудом узнает эту большую девочку с уже серьезной улыбкой. Немного погодя, держа ее возле себя и беседуя о всяких ребяческих пустяках, которые, по его мнению, должны ее занимать, он замечает на шее у ребенка тоненькую серебряную цепочку и чувствует, что на ней должны висеть образки. Нескромно поддев ее своим большим пальцем, он вытягивает ее наружу и, скрывая болезненное отвращение под личиной удивления:

— Что это за штучки такие?

Жюли отлично понимает, что вопрос шуточный; но чего бы она стала обижаться?

— Что вы, дядя? Вы никогда не видели образков?

— Признаться, никогда, моя милая, — лжет он. — Это не ах, как красиво, но, может быть, и служит к чему-нибудь.

И так как ясное благочестие не мешает невинной шаловливости, ребенок, видя у зеркала над камином свою фотографию, указывает на нее пальцем:

— А вот у вас здесь, дядя, портрет какой-то девочки, которая тоже не ах, как красива. К чему он может вам служить?

Удивленный такой лукавой находчивостью и таким проявлением здравого смысла у маленькой святоши, дядя Антим теряется. Но не может же он вступать в метафизический спор с девятилетней девочкой. Он улыбается. Малютка, немедленно воспользовавшись этим, показывает свои образки:

— Вот образок святой Юлии, моей заступницы, — говорит она, — а вот сердца Иисусова...

— А с боженькой у тебя нет образка? — нелепо перебивает ее Антим.

Ребенок спокойно отвечает:

— Нет, с боженькой не делают... А вот самый красивый: Лурдской божьей матери; мне его подарила тетя Флериссуар она привезла его из Лурда; я его надела в тот день, когда папа и мама вручили меня пресвятой деве.

Этого Антим не выдерживает. Ни на минуту не задумываясь над тем, сколько несказанной прелести в этих образах, мае месяце, белом и голубом детском шествии, он уступает маниакальному позыву к кощунству:

— Значит, пресвятой деве ты не понадобилась, раз ты еще с нами?

Малютка не отвечает ничего. Может быть, она уже понимает, что бывают наглые выходки, на которые самое умное — ничего не отвечать? К тому же — что бы это могло значить? — вслед за этим несуразным вопросом краснеет не Жюли, а сам франк-масон, — легкое смущение, невольный спутник непристойности, мимолетное волнение, которое дядя скроет, почтительно касаясь чистого лба племянницы искупительным поцелуем.

— Почему вы притворяетесь злым, дядя Антим?

Малютка говорит правду; в сущности, у этого неверующего ученого чувствительная душа.

Тогда откуда же это ярое упорство?

В эту минуту Адель отворяет дверь:

— Барыня спрашивает барышню.

Очевидно, Маргарита де Баральюль боится влияния зятя и не очень-то склонна оставлять с ним подолгу свою дочь вдвоем, — что он и решится ей сказать, вполголоса, немного спустя, когда вся семья пойдет к столу. Но Маргарита поднимет на Антима все еще слегка воспаленный глаз:

— Боюсь вас? Но, дорогой друг, Жюли успеет обратить дюжину таких, как вы, прежде чем вашим насмешкам удастся хоть сколько-нибудь отразиться на ее душе. Нет, нет, мы поустойчивее, чем вы думаете. Но все-таки не забывайте, что это ведь дитя... Она хорошо знает, каких кощунств можно ждать от такого растленного времени, как наше, и в стране, управляемой так постыдно, как наше отечество. Но грустно, что первые поводы к возмущению ей даете вы, ее дядя, которого нам бы хотелось, чтобы она училась уважать.

Успокоят ли Антима эти столь взвешенные, столь мудрые слова?

Да, на время первых двух смен (впрочем, обед, вкусный, но простой, состоит всего лишь из трех блюд), пока семейный разговор будет прогуливаться мимо предметов, которые не колотятся. Во внимание к Маргаритину глазу, сперва поговорят об окулистике (Баральюли делают вид, будто не замечают, что шишка у Антима выросла), потом об итальянской кухне, из любезности к Веронике, с намеками на отменность ее обеда. Потом Антим спросит о Флериссуарах, к которым Баральюли недавно ездили в По, и о графине де Сен-При, сестре Жюлиуса, живущей неподалеку оттуда на даче; наконец, о Женевьеве, прелестной старшей дочери Баральюлей, которую те хотели было взять с собою в Рим, но которая ни за что не соглашалась расстаться с детской больницей на улице Севр, куда она ходит каждое утро перевязывать раны маленьким страдальцам. Затем, Жюлиус выдвинет важный вопрос об отчуждении Антимовых земель; речь идет об участках, которые Антим купил в Египте во время первого своего путешествия, еще молодым человеком; плохо расположенные, эти земли до сих пор не приобрели особенной ценности; но в последнее время возник вопрос о том, что их может пересечь новая железнодорожная линия Каир — Гелиополь; спору нет, кошелек Арманов-Дюбуа, истощенный рискованными спекуляциями, весьма нуждается в этом подспорьи; однако Жюлиус перед отъездом говорил с Манитоном, инженером-экспертом, участвующим в изысканиях по постройке дороги, и советует свояку не слишком обольщаться надеждами; легко может оказаться, что они его обманут. Но чего Антим не говорит — это, что дело в руках у Ложи, а она никогда не даст в обиду своих.

Теперь Антим говорит Жюлиусу об его кандидатуре в Академию, об его шансах; говорит он об этом с улыбкой, потому что нисколько в это не верит; и сам Жюлиус изображает спокойное и как бы отреченное равнодушие: к чему рассказывать, что его сестра, графиня Ги де Сен-При, вертит, как хочет, кардиналом Андре, а следовательно и пятнадцатью бессмертными, всегда голосующими заодно с ним? Антим отзывается с очень беглой похвалой о последнем романе Баральюля: «Воздух Вершин». На самом деле, эта книга показалась ему отвратительной; и Жюлиус, догадываясь об этом, спешит сказать, дабы оградить свое самолюбие:

— Я так и думал, что подобного рода книга не может вам нравиться.

Антим готов бы еще извинить книгу, но этот намек на его убеждения задевает его за живое; он заявляет, что его убеждения отнюдь не влияют на ту оценку, которую он дает произведениям искусства вообще и книгам Жюлиуса в частности. Жюлиус улыбается с примиряющей снисходительностью и, чтобы переменить разговор, спрашивает свояка об его ишиасе, который он по ошибке называет ревматизмом. Ах, что бы Жюлиусу спросить об его научных изысканиях! Тут бы ему ответили! А то извольте, ревматизм! Может быть еще и шишка? Но об его научных изысканиях Жюлиус, по-видимому, ничего не знает; предпочитает не знать... Антим, и без того возбужденный, а тот еще, как назло, схваченный приступом этого самого «ревматизма», усмехается и сердито отвечает:

— Лучше ли я себя чувствую?.. Ха, ха, ха! Вам это было бы не очень-то приятно!

Жюлиус удивлен и просит свояка объяснить ему, чем он заслужил, что тот ему приписывает столь малосострадательные чувства.

— А то как же! Вы тоже, небось, умеете звать доктора, если кто-нибудь из вас заболит; но когда больной выздоравливает, то медицина оказывается тут не при чем: это помогли молитвы, которые вы читали, пока врач вас лечил. А если человек не говел, то, по-вашему, с его стороны будет порядочным нахальством, если он выздоровеет.

— Вместо того, чтобы молиться, вы предпочитаете болеть? — проникновенно промолвила Маргарита.

Эта чего суется? Обыкновенно она не вмешивается в разговоры общего характера и ступшевывается, чуть только Жюлиус раскроет рот. У них мужской разговор; к чорту церемонии! Он резко оборачивается к ней:

— Душа моя, знайте, что если бы исцеление было тут, вот тут, вы слышите, — и он исступленно указывает на солонку, — под рукой, но если бы для того, чтобы иметь право им воспользоваться, я должен был умолять «господина начальника» (так он называет, когда бывает не в духе, верховное существо) или просить его вмешаться, нарушить ради меня установленный порядок, естественный порядок причин и следствий, почтенный порядок, так вот, я бы отказался от его исцеления; я бы ему сказал, этому начальнику: «Ну вас совсем с вашим чудом; мне его не надо».

Он отчеканивает каждое слово, каждый слог: он возвысил голос до уровня своего гнева; он ужасен.

— Вы бы отказались... почему? — спросил Жюлиус очень спокойно.

— Потому что иначе мне пришлось бы верить в того, кто не существует.

С этими словами он стукнул кулаком по столу.

Маргарита и Вероника тревожно переглянулись, потом перевели обе взгляд на Жюли.

— Мне кажется, пора итти спать, дочурка, — сказала мать. — Ступай; мы придем попрощаться с тобой, когда ты ляжешь в кроватьку.

Девочка, уstraшенная ужасными речами и демоническим обликом дяди, убегает.

— Если я выздоровею, я желаю быть обязанным только себе. Вот.

— Ну, а доктор? — вставила Маргарита.

— Я ему плачу за труды, и мы квиты.

Но Жюлиус, самым глубоким своим голосом:

— В то время, как благодарность богу вас связывала бы...

— Да, братец; вот почему я не молюсь.

— За тебя молились другие, мой друг.

— Это говорит Вероника; до сих пор она не произнесла ни слова. При звуке этого мягкого, слишком знакомого голоса, Антим вздрагивает, теряет всякую сдержанность. Противоречивые предложения толпятся на его губах. Прежде всего никто не имеет права молиться за кого-нибудь без его согласия, просить для него милости без его ведома, — это предательство. Она ничего не добилась; тем лучше! Это ей покажет, чего стоят ее молитвы! Нашла, чем гордиться!.. А может быть, она недостаточно молилась?

— Будьте покойны: я продолжаю, — все так же мягко отвечает Вероника.

Затем, улыбаясь и словно не задетая бушеванием этого гнева, она рассказывает Маргарите, что каждый вечер, не пропуская ни одного дня, она ставит за Антима две свечи перед уличной мадонной, у северного угла их дома, той самой, возле которой она когда-то застала Беппо крестящимся. Мальчик ютится и ночует поблизости, в углублении стены, и Вероника знает, что всегда застанет его там в урочный час. Самой бы ей не дотянуться до ниши, которая расположена выше человеческого роста; и Беппо (теперь это стройный юноша пятнадцати лет), цепляясь за камни и железное кольцо, ставит зажженные свечи перед образом... Так разговор мало-по-малу отдалялся от Антима, смыкался над ним, и сестры беседовали о народном благочестии, таком трогательном, которое самую бедную статую превращает в самую чтимую. Антим потонул совершенно. Как? Мало того, что не далее, как сегодня утром, Вероника, за спиной у него, накормила его крыс! Теперь она ставит еще и свечи! за него! Его жена! И впутывает Беппо в эту дурацкую комедию... Ладно, посмотрим!..

У Антима кровь приливает к мозгу; он задыхается; в висках у него звучит набат. С огромным усилием он встает, опрокидывает стул; проливает на салфетку стакан с водой; вытирает лоб... Уж не дурно ли ему? Подбегает Вероника; он отталкивает ее грубой рукой, кидается к двери, хлопает ею; и вот в коридоре раздается его неровный, удаляющийся шаг, сопровождаемый глухим стуком костыля.

Этот внезапный выход повергает обедающих в печаль и смущение. Некоторое время все молчат.

— Бедная моя! — произносит, наконец, Маргарита.

Но при этом лишней раз сказывается разница в характере сестер. Душа Маргариты сотворена из того чудесного вещества, из которого бог создает своих мучеников. Она это знает и жаждет страданий. К несчастью, жизнь не приносит ей никаких невзгод; она взыскана всем, и, чтобы найти применение своей способности терпеть, она пользуется всем решительно, чтобы оцарапаться; она цепляется и хватается за все. Правда, она умеет добиваться того, чтобы с ней поступали дурно; но Жюлиус как будто нарочно старается отнять у ее добродетели последнюю пищу; что же удивительного, если с ним она вечно недовольна и чудит? С таким мужем, как Антим, вот была бы жизнь! Ее злит, что ее сестра не умеет этим пользоваться; Вероника, действительно, не склонна огорчаться; по ее нескончаемой улыбчивой благодати все скользит — насмешка, издевательство, — и она, должно быть, давно уже примирилась со своим одиночеством; впрочем, Антим совсем не плохо к ней относится; пусть себе говорит, что угодно! Она объясняет, что он потому так резок на словах, что не может двигаться; он не был бы таким вспыльчивым, если бы ему не мешало его увечье; и, когда Жюлиус спрашивает, куда он пошел, она отвечает:

— В лабораторию.

А Маргариту, на ее вопрос, не следует ли заглянуть туда, — ведь ему, может быть, нехорошо после такой вспышки! — она уверяет, что лучше дать ему успокоиться и не обращать внимания на его уход.

— Кончим спокойно обед, — решает она.

Нет, дядя Антим не в лаборатории. Он быстро прошел по своей мастерской, где все еще мучатся шестеро крыс. Что бы ему помедлить на террасе, залитой закатным сиянием? Серафический вечерний свет, умиряя его мятежную душу, склонил бы ее, быть может... Но нет: он не внемлет совету. По неудобной винтовой лестнице он спускается во двор и идет по нему. Этот торопящийся калека для нас трагичен, потому что мы знаем, каких усилий ему стоит каждый шаг, каких страданий каждое усилие. Увидим ли мы когда-нибудь расточаемой ради блага столь же дикую энергию? По временам с его перекошенных губ срывается стон; его лицо сводит судорога. Куда его влечет нечестивая ярость?

Мадонна, которая, проливая на мир из своих простертых ладоней благодатный отблеск небесных лучей, охраняет дом и, быть может, предстательствует даже за богохульника, — не из тех современных статуй, какие выдвигает в наши дни из пластического римского картона Блафафаса художественная фирма Флериссуар-Левишон. Бесхитростный образ, выражение народного обожания, она тем прекраснее и красноречивее для нас. Озаряя бледное лицо, лучезарные руки и голубую ризу, против самой статуи, но на некотором расстоянии от нее, горит фонарь, свисающий с цинковой крыши, которая выступает над нищей и осеняет как ее, так и прикрепленные к ее стенам приношения. На высоте протянутой руки металлическая дверца (ключ от нее хранится у сторожа приходской церкви) ограждает намотанный конец веревки, к которой подвешен фонарь. Кроме него, перед статуей день и ночь горят две свечи; их как раз переменяла Вероника. При виде этих свечей, которые, он это знает, затеплены ради него, франк-масон чувствует, как в нем снова закипает бешенство. Беппо, догрызавший в углублении, где он уютится, корку хлеба и пучок укропа, выбежал ему навстречу. Не отвечая на его учтивое приветствие, Антим схватил его за плечо; что такое он говорит, склонившись над ним, что тот вздрагивает? — «Нет, нет!» — возражает мальчуган. Из жилетного кармана Антим достает бумажку в пять лир: Беппо возмущен... Настанет время, он, быть может, украдет; убьет даже; кто знает, какими грязными брызгами нищета запятнает его чело? Но поднять руку на пречистую деву, которая его охраняет, которой каждый вечер перед сном он посылает вздох, которой каждое утро, просыпаясь, он улыбается!.. Антим может уговаривать, подкупать, сердиться, грозить, он ничего не добьется, кроме отказа.

Впрочем, не будем впадать в заблуждение. Против самой девы Антим ничего не имеет; он не желает только Вероникиных свечей. Но простая душа Беппо не приемлет этих оттенков; к тому же, эти свечи, отныне освященные, никто не в праве задуть.

Антим, выведенный из себя таким упорством, оттолкнул ребенка. Он будет действовать один. Прислонясь у стене, он хватается костыль за самый конец, яростно размахивается несколько раз и изо всех сил швыряет его кверху. Палка ударяется о стенку ниши, с грохотом падает на землю, увлекая за собой какие-то обломки, штукатурку. Он подбирает костыль и отступает назад, чтобы взглянуть на нишу... Проклятье! Свечи горят по-прежнему. Но что такое? У статуи, вместо правой руки, всего лишь черный металлический прутик.

Он созерцает, протрезвев, печальный результат своего жеста: кончить таким смехотворным покушением... Фу! Он ищет глазами Беппо; мальчуган исчез. Уже темно; Антим один; он замечает на земле обломок, отбитый костылем, поднимает его: это маленькая гипсовая ручка, которую он, пожимая плечами, сует в жилетный карман.

С краской стыда на лице, с яростью в сердце, иконоборец возвращается в свою лабораторию; ему хотелось бы работать, но после этого отчаянного напряжения он совсем разбит; он может только спать. Разумеется, он ляжет, ни с кем не прощаясь... Но, когда он идет

к себе в комнату, его останавливает звук голосов. Дверь соседней комнаты открыта; он крадется темным коридором...

Подобная семейному ангелочку, маленькая Жюли, в рубашечке, стоит на коленях в кровати; у изголовья залитые светом лампы, Вероника и Маргарита, тоже на коленях; поодаль, в ногах, приложив одну руку к сердцу, а другой закрывая глаза, стоит Жюлиус, в молитвенной и в то же время мужественной позе; они слушают, как малютка молится. Всю сцену окутывает великая тишина, такая, что ученому приходит на память некий спокойный и золотой вечер на берегах Нила, когда, как эта детская молитва, возносился совершенно прямой, к совершенно чистому небу, голубой дым.

Молитва, по-видимому, близится к концу; оставив заученные выражения, малютка молится теперь так, как ей подсказывает сердце; она молится за сироток, за больных и бедных, за сестрицу Женевьеву, за тетю Веронику, за папу; молится о том, чтобы глаз ее дорогой мамы поскорее поправился... Тут сердце Антима сжимается; с порога, очень громко, стараясь, чтобы его слова звучали иронически, он говорит так, что слышно через всю комнату:

— А для дяди у боженки ничего не просят?

И малютка удивительно уверенным голосом продолжает, к великому изумлению всех:

— И еще я молюсь, господи, о грехах дяди Антима.

Эти слова поражают безбожника в самое сердце.

В эту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучался в маленькую дверь его спальни; то была не дверь в коридор и не дверь в смежную комнату; стучались в другую дверь, которой он наяву до сих пор никогда не замечал и которая выходила прямо на улицу. Потому-то он и испугался и сперва, не откликаясь, притих. Слабый свет позволял ему различать все мелкие предметы в комнате, мягкий и смутный свет, напоминающий свет ночника; однако нигде не горел огонь. Пока он старался понять, откуда этот свет, постучали снова.

— Чего вам надо? — крикнул он дрожащим голосом.

При третьем стуке им овладела необычайная слабость, такая слабость, что в ней растаяло всякое чувство страха (он называл это впоследствии: безвольная нежность), и вдруг он ощутил, что не может сопротивляться и что дверь сейчас откроется. Она распахнулась бесшумно, и в первую минуту он видел лишь черный вырез, но вот в нем, словно в нише, появилась богородица. Это была невысокая белая фигура, и он принял ее было за свою племянницу Жюли, такой, как он ее только что видел, с босыми ногами, чуть выступающими из-под рубашки; но миг спустя он узнал ту, которую он оскорбил; я хочу сказать, что она имела облик угловой статуи; и он даже опознал изувеченную правую руку; но бледное лицо было еще прекраснее, еще улыбчивее, чем всегда. Он не видел, чтобы она шла, но она приблизилась к нему, словно скользя, и, подойдя вплотную к изголовью:

— Неужели ты думаешь, ты, который меня ранил, — сказала она ему, — что мне нужна моя рука, чтобы исцелить тебя? — и она подняла над ним свой пустой рукав.

Теперь ему казалось, что этот странный свет исходит от нее. Но когда металлический стержень внезапно воткнулся ему в бок, его пронзила нестерпимая боль, и он очнулся в темноте.

Минуло с четверть часа, прежде чем Антим пришел в себя. Он ощущал во всем своем теле какое-то странное оцепенение, какую-то оупелость, потом почти приятное щекотание, и он уже и сам не знал, действительно ли он испытал эту острую боль в боку; он не мог понять, где начинается, где кончается его сон, бодрствует ли он сейчас, спал ли он только что перед тем. Он ощупал себя, ущипнул, проверил; протянул руку, наконец чиркнул спичкой. Рядом с ним спала Вероника, повернувшись лицом к стене.

Тогда, выпростав и опрокинув простыню и одеяло, он спустил с кровати ноги и коснулся босыми пальцами кожаных туфель. Костыль стоял прислоненным к ночному столику; не дотрагиваясь до него, он приподнялся на руках, отталкиваясь от постели; затем всунул ноги в туфли; потом, став на ноги, выпрямился; потом, еще неуверенно, протянув одну руку вперед, другую откинув назад, ступил шаг, два шага вдоль кровати, три шага, затем по комнате... Пресвятая дева! неужели он?.. — Он бесшумно натянул брюки, надел жилет, пиджак... Остановись, неосторожное перо мое! Там, где уже трепещут крылья освобождающейся души, что значит неловкая суета исцеляющегося тела паралитика?

Когда четверть часа спустя, Вероника, под влиянием какого-то вещего чувства, проснулась, она встревожилась, не видя рядом с собой Антима; она встревожилась еще больше, когда, зажегши спичку, заметила у изголовья костыль, неизменный спутник калеки. Спичка догорела у нее в руке, потому что Антим, уходя, унес свечу; Вероника кое-как оделась впотымах и, выйдя из комнаты, тотчас же направилась на полоску света, пробивавшуюся из-под двери в берлогу.

— Антим! Ты здесь, мой друг?

Никакого ответа. Между тем, прислушиваясь, Вероника различала какие-то странные звуки. Тогда, со страхом, она толкнула дверь; то, что она увидела, приковало ее к порогу.

Ее Антим был тут, лицом к ней; он не сидел и не стоял; его темя, на уровне стола, было ярко освещено пламенем свечи, которую он поставил у края; Антим, ученый, атеист, тот, чья окостенелая нога, равно как и непреклонная воля, не сгибалась уже столько лет (ибо замечательно, до какой степени дух согласовался у него с телом), Антим стоял на коленях.

Он стоял на коленях, Антим; он держал обеими руками маленький гипсовый обломок и орошал его слезами, покрывал исступленными поцелуями. Он не двинулся с места, когда раскрылась дверь, и перед этой тайной Вероника, в недоумении, не решаясь ни отступить, ни войти, хотела уже сама опуститься на колени у порога, напротив мужа, как вдруг тот, поднявшись без всякого усилия, — о чудо — уверенным шагом подошел к ней и, обнимая ее обеими руками:

— Отныне, сказал он ей, прижимая ее к сердцу и склоняясь к ней лицом, — отныне, мой друг, ты будешь молиться вместе со мной.

Обращение франк-масона не могла долго оставаться в тайне. Жюлиус де Баральюль в тот же день написал об этом кардиналу Андре, а тот оповестил консервативную партию и высшее французское духовенство. Вероника, со своей стороны, уведомила отца Ансельма, и таким образом известие это в скором времени достигло ушей Ватикана.

Безусловно, Арман-Дюбуа был взыскан исключительной милостью. Что пресвятая дева действительно являлась ему, это, быть может, было бы неосторожно утверждать; но, если бы даже он видел ее только во сне, его исцеление, во всяком случае, было налицо, неоспоримое, явное, несомненно чудесное.

Но если бы даже Антиму и было достаточно его исцеления, то церкви этого было мало, и она желала открытого отречения, намереваясь обставить таковое беспримерным блеском.

— Как! — говорил ему несколько дней спустя отец Ансельм, — вы, в пору ваших заблуждений, всеми способами распространяли лжеучение, а теперь уклонились бы от преподавания высшего урока, который небу угодно явить в вашем же лице? Сколько душ ложное мерцание вашей суетной науки отвратило от света! Теперь вы можете вернуть их к нему, и вы бы стали колебаться это сделать? Что говорю я: вы можете? Это прямой ваш долг; и я бы вас оскорбил, если бы думал, что вы этого не чувствуете.

Нет, Антим не уклонялся от исполнения этого долга, но все же он опасался последствий. Крупные интересы, которые у него были в Египте, находились, как мы уже говорили, в руках франк-масонов. Что мог он сделать без содействия Ложи? А можно ли было надеяться, что она по-прежнему станет поддерживать человека, который от нее отрекся? Так как именно от нее он ждал богатства, то теперь он видел себя разоренным вконец.

Он поведал об этом отцу Ансельму. Тот не знал, что Антим занимал такую высокую степень, и весьма обрадовался, полагая, что его отречение привлечет тем большее внимание. Два дня спустя высокая степень Антима уже не составляла секрета ни для одного из читателей «Osservatore» и «Santa Croce».

— Вы меня губите! — говорил Антим.

— Что вы, мой сын, напротив! — отвечал отец Ансельм. — Мы вас спасаем. А что касается материальных интересов, то об этом не беспокойтесь: церковь вас не оставит. О вашем деле я имел длительный разговор с кардиналом Пацци, который обо всем доложит Рамполле; наконец, могу вам сказать, что о вашем отречении уже осведомлен наш святой отец; церковь сумеет оценить, чем вы для нее жертвуете, и не желает, чтобы вы несли потери. Впрочем, не кажется ли вам, что в данном случае вы преувеличиваете силу (он улыбнулся) франк-масонов? Конечно, я хорошо знаю, что с ними слишком часто приходится считаться... Кстати, подсчитали ли вы, в чем именно могут выразиться те убытки, которые вы боитесь понести из-за их вражды? Назовите нам сумму приблизительно, и... (он с лукавым благодушием поднял в уровень с носом указательный палец левой руки) и не бойтесь ничего.

Через десять дней после юбилейных торжеств в церкви Иисуса состоялось отречение Антима, окруженное непомерной пышностью. Мне нечего описывать эту церемонию, о которой много говорили все тогдашние итальянские газеты. Отец Т., соций генерала иезуитов, произнес по этому случаю одну из замечательнейших своих проповедей: поистине, душа франк-масона была терзаема до безумия, и самая чрезмерность его ненависти была предвещанием любви. Духовный вития вспоминал Савла Тарсского, открывал между иконоборческим жестом Антима и побиением святого Стефана поразительные совпадения. И меж тем как красноречие преподобного отца ширилось и катилось по храму, как катятся в гулком гроте тяжелые морские

волны, Антим вспоминал тонкий голосок своей племянницы и в сердце своем благодарил малютку за то, что она склонила к грехам нечестивого дяди милосердное внимание той, которой он отныне намерен служить безраздельно.

Начиная с этого дня, преисполненный более высоких помыслов, Антим почти не замечал того шума, который поднялся вокруг его имени. Жюлиус де Баральюль взялся страдать за него и всякий раз с бьющимся сердцем разворачивал газеты. Первоначальному восторгу клерикальных изданий вторил теперь свист либеральных органов: на большую статью «Osservatore» — «Новая победа церкви» — откликнулась диатриба «Tempo Felice»: «Одним дураком больше». Наконец в «Тулузском Телеграфе» статья Антима, посланная им за день до исцеления, появилась в сопровождении издевательской заметки. Жюлиус ответил от имени свояка достойным и сухим письмом, прося «Телеграф» не рассчитывать впредь на сотрудничество «новообращенного». «Zukunft» самая первая прислала Антиму вежливый отказ. Тот встречал удары с той ясностью лица, которая бывает у истинно верующих душ.

— К счастью, для вас будет открыт «Correspondant»; за это я вам ручаюсь, — говорил свистящим голосом Жюлиус.

— Но, дорогой друг, о чем бы я стал там писать? — благодушно возражал Антим. — Ничто из того, что занимало меня до сих пор, не интересует меня больше. Потом настала тишина. Жюлиус вернулся в Париж.

Антим тем временем, следуя настояниям отца Ансельма, покорно покинул Рим. За прекращением поддержки со стороны Лож быстро последовало разорение; и так как визиты, к которым его побуждала Вероника, верившая в поддержку церкви, привели к тому, что утомили, а под конец и раздражили высшее духовенство, то последовал дружеский совет удалиться в Милан и там ожидать некогда обещанного возмещения и крох от выдохшейся небесной милости.

Книга вторая
ЖЮЛИЮС ДЕ БАРАЛЬУЛЬ

Ибо никого нельзя лишать возврата.

Рец, VIII, стр.93.

Тридцатого марта, в полночь, Баральюли вернулись в Париж и опять водворились в своей квартире на улице Вернейль.

Пока Маргарита готовилась итти спать, Жюлиус, держа в руке небольшую лампу и в туфлях, вошел в свой кабинет, куда всякий раз возвращался с удовольствием. Убранство комнаты было строгое; по стенам — несколько Лепинов и один Буден; в углу, на вращающейся тумбе, немного резким пятном выделялся мраморный бюст жены, работы Шапю; посередине — огромный ренессансный стол, на котором, за время отсутствия Жюлиуса, скопились книги, брошюры и объявления; на эмалевом подносе — несколько загнутых визитных карточек, а в стороне, прислоненное на виду к бронзовой статуэтке Бари, письмо, в почерке которого Жюлиус узнал почерк старика-отца. Он тотчас же разорвал конверт и прочел:

«Дорогой сын!

Я очень ослабел за последние дни. По некоторым верным признакам я вижу, что пора собираться в дорогу; да и что пользы задерживаться дольше?

Я знаю, что Вы возвращаетесь в Париж сегодня ночью, и надеюсь, что Вы не откажете мне в срочном одолжении. В виду некоторых обстоятельств, о которых я Вас осведомлю в самом недалеком времени, мне нужно знать, проживает ли еще в тупике Клод-Бернар, дом N 12, молодой человек по имени Лафкадио Влуики (произносится Луки, „В“ и „и“ едва слышны).

Я буду Вам очень обязан, если Вы сходите по этому адресу и повидаете названного молодого человека. (Вам, как романисту, нетрудно будет найти какой-нибудь предлог для посещения.) Мне важно знать:

1. что этот молодой человек делает;
2. что он намерен делать (есть ли у него какие-нибудь стремления? какого порядка?);
3. наконец, Вы мне укажете, каковы, по-вашему, его данные, его способности, его желания, его вкусы...

Пока ко мне не заходите; я в настроении невеселом. Эти сведения Вы точно так же можете мне изложить в нескольких строках. Если мне захочется побеседовать или если я почувствую, что близок великий отъезд, я дам Вам знать.

Обнимаю Вас.

Жюст-Аженор де Баральюль.

P.S. Не показывайте виду, что это я Вас послал: молодой человек меня не знает и впредь не должен знать.

Лафкадио Влуики сейчас девятнадцать лет. Румынский подданный. Сирота.

Я просмотрел Вашу последнюю книгу. Если после этого Вы не попадете в Академию, то совершенно непростительно, что Вы написали эту дребедень».

Отрицать нельзя было: последняя книга Жюлиуса была плохо встречена. Несмотря на усталость, романист пробежал газетные вырезки, где о нем отзывались неблагоприятно. Потом он открыл окно и вдохнул туманный воздух ночи. Окна его кабинета выходили в посольский сад — водоем очистительной тьмы, где глаза и дух омывались от мирской и уличной скверны. Он прислушался к чистому пению незримого дрозда. Потом вернулся в спальню, где Маргарита уже лежала в кровати.

Боясь бессонницы, он взял с комода пузырек с померанцевой настойкой, к которому часто прибегал. Полный супружеской заботливости, он предупредительно поставил лампу ниже спящей, приспустив фитиль; но легкий звон хрусталя, когда, выпив, он ставил рюмку на место, достиг до Маргариты сквозь ее дремоту, и она, с животным стоном, повернулась к стене.

Жюлинос, обрадовавшись тому, что она еще не спит, подошел к ней и заговорил, раздеваясь:

— Знаешь, как отец отзывается о моей книге?

— Дорогой друг, твой бедный отец совершенно лишен литературного чутья, ты мне это сто раз говорил, — пробормотала Маргарита, которой ничего не хотелось, как только спать.

Но у Жюлиноса было слишком тяжело на душе:

— По его словам, я поступил позорно, написав такую дребедень.

Последовало довольно длительное молчание, в котором Маргарита опять потонула, забывая всякую литературу; и уже Жюлинос примирился с одиночеством; но из любви к нему она сделала огромное усилие и, всплывая на поверхность:

— Надеюсь, ты не станешь этим огорчаться.

— Я отношусь к этому хладнокровно, ты же видишь, — тотчас же отозвался Жюлинос, — Но все же, мне казалось бы, не отцу пристало так выражаться; ему еще меньше, чем кому-либо другому, и именно об этой книге, которая, собственно говоря, не что иное, как памятник в его честь.

Действительно, разве не представил Жюлинос в этой книге как раз столь характерную карьеру престарелого дипломата? Не в ней ли он превознес, противопоставляя романтическим треволнениям, достойную, спокойную, классическую, равно как политическую, так и семейственную жизнь Жюста-Аженора?

— Ведь ты же написал эту книгу не для того, чтобы заслужить его признательность.

— Он дает понять, что я написал «Воздух Вершин» для того, чтобы попасть в Академию.

— А если бы даже и так! Если бы ты и попал в Академию за то, что написал хорошую книгу! — Потом, сострадательным голосом: — Будем надеяться, что газеты и журналы его просветят.

Жюлинос разразился:

— Газеты! Нечего сказать! — и, яростно обращаясь к Маргарите, словно она была виновата, с горьким смехом: — Меня рвут со всех сторон!

У Маргариты пропал всякий сон.

— Тебя очень критикуют? — спросила она с тревогой.

— И хвалят с нестерпимым лицемерием.

— Как хорошо, что ты всегда презирал этих газетчиков! Но вспомни, что написал тебе третьего дня мсье де Вогюз: «Такое перо, как Ваше, защищает Францию, как шпага».

— «Против грозящего нам варварства такое перо, как Ваше, защищает Францию лучше всякой шпаги», — поправил Жюлинос.

— А кардинал Андре, обещая тебе свой голос, еще недавно ручался тебе, что вся церковь с тобой.

— Есть чему радоваться!

— Мой друг!..

— Мы видели на примере Антима, чего стоит высокое покровительство духовенства.

— Жюлинос, ты становишься злым. Ты мне часто говорил, что работаешь не для награды и не ради одобрения других, что тебе достаточно твоего собственного одобрения; ты даже написал об этом прекрасные страницы.

— Знаю, знаю, — раздраженно произнес Жюлинос.

Его глубокой муке эти снадобья помочь не могли. Он прошел в умывальную комнату.

Как это он себе позволяет так жалко распускаться перед женой? Свою заботу, которая не из тех, что жены умеют убаюкивать и утешать, он из гордости, из чувства стыда, должен бы замкнуть в своем сердце. «Дребедень!» Это слово, пока он чистил зубы, било у него в висках, расстраивало самые благородные его мысли. Да что — последняя книга! Он не думал больше о

словах отца; или, во всяком случае, не думал больше о том, что эти слова сказаны его отцом... В нем подымался, впервые в жизни, ужасный вопрос, — в нем, который до сих пор всегда встречал только одобрения и улыбки, — подымалось сомнение в искренности этих улыбок, в ценности этих одобрений, в ценности своих работ, в подлинности своей мысли, в истинности своей жизни.

Он вернулся в спальню, рассеянно держа в одной руке стакан для зубов, в другой — щетку; поставил стакан, наполовину налитый розовой водой, на комод, опустил в него щетку и сел к кленовому письменному столику, за которым Маргарита обыкновенно писала письма. Он взял вставочку жены; на лиловой, нежно надушенной бумаге он начал писать:

«Дорогой отец!

Вернувшись сегодня, я нашел Вашу записку. Завтра же я исполню поручение, которое Вы на меня возлагаете и которое я надеюсь успешно выполнить, дабы таким образом доказать Вам мою преданность».

Ибо Жюлиус — из тех благородных натур, которые, сквозь обиду, выказывают свое истинное величие. Потом, откинувшись назад, он некоторое время сидел, взвешивая фразу, с поднятым пером:

«Мне тяжело видеть, что именно Вы заподозриваете бескорыстие...»

Нет. Лучше:

«Неужели Вы думаете, что я менее ценю ту литературную честность...»

Фраза не удавалась. Жюлиус был в ночном костюме; он почувствовал, что ему холодно, скомкал бумагу, взял стакан для зубов, отнес его в умывальную комнату, а скомканную бумагу бросил в ведро.

Перед тем как лечь в кровать, он тронул жену за плечо.

— А ты какого мнения о моей книге?

Маргарита приоткрыла унылый глаз. Жюлиусу пришлось повторить вопрос. Маргарита, полуобернувшись, взглянула на него. С приподнятыми бровями, сморщенным лбом и искривленными губами, Жюлиус имел жалкий вид.

— Да что с тобой, мой друг? Или ты, в самом деле, считаешь, что твоя последняя книга хуже прежних?

Это был не ответ; Маргарита уклонялась.

— Я считаю, что и прежние не лучше этой; вот!

— Ну, в таком случае!..

И Маргарита, уstraшенная такою крайностью суждений и чувствуя, что ее нежные доводы бесполезны, отвернулась к темноте и опять уснула.

Несмотря на известное профессиональное любопытство и на приятную уверенность в том, что ничто человеческое не может быть ему чуждо, Жюлиус до этого времени редко отрешался от обычаев своего класса и не имел дела с людьми другого круга. Не то чтобы у него не было охоты; просто не представлялось случая. Собираясь итти по этому делу, Жюлиус убедился, что он и одет не совсем так, как надо бы. В его пальто, в его манишке, в его плоском цилиндре было что-то пристойное, сдержанное и изысканное... А может быть, в конце концов, и лучше, чтобы его внешность не слишком приглашала этого молодого человека к скороспелой фамильярности? Вызвать его на откровенность, думал он, надлежало искусством речи. И по пути к тупику Клод-Бернар Жюлиус размышлял о том, с какими предосторожностями, под каким предлогом он войдет и как поведет дознание.

Что общего могло быть с этим Лафкадио у графа Жюста-Аженора де Баральюля? Этот вопрос назойливо жужжал вокруг Жюлиуса. Не теперь, когда он закончил жизнеописание отца, мог бы он себе позволить его расспрашивать. Он желал знать только то, что отец сочтет нужным сказать ему сам. За последние годы граф стал молчалив, но скрытным он никогда не был. Пока Жюлиус шел Люксембургским садом, его застиг ливень.

В тупике Клод-Бернар, у дома N 12, стоял фиакр, и в нем Жюлиус, входя в подъезд, различил даму в немного броском туалете и слишком большой шляпе.

У него билось сердце, когда он называл швейцару меблированного дома имя Лафкадио Влуики; романисту казалось, что он кидается на путь приключений; но, пока он подымался по лестнице, обыденность обстановки, убогость окружающего оттолкнули его; не находя себе пищи, его любопытство слабело и уступало место отвращению.

В пятом этаже, коридор без ковра, освещаемый только верхним светом с лестницы, в нескольких шагах от площадки делал поворот; справа и слева тянулись закрытые двери; дверь в глубине, незапертая, пропускала тонкий луч. Жюлиус постучал; бесплодно; он робко приотворил дверь; в комнате — никого. Жюлиус спустился вниз.

— Если его нет, он скоро вернется, — сказал швейцар.

Дождь лил, как из ведра. Рядом с вестибюлем, против лестницы, находился салон, в который Жюлиус и решил было проникнуть; но затхлый воздух и безнадежный вид этого помещения отпугнули его, и он подумал, что с таким же успехом он мог бы распахнуть дверь там, наверху, и ждать молодого человека попросту в его комнате. Жюлиус опять отправился наверх.

Когда он вторично огибал угол коридора, из комнаты, смежной с той, что была в глубине, вышла женщина. Жюлиус столкнулся с ней и извинился.

— Кого вам угодно?

— Мсье Влуики здесь живет?

— Его сейчас нет.

— А! — воскликнул Жюлиус с такой досадой в голосе, что женщина спросила его:

— У вас к нему спешное дело?

Жюлиус, вооруженный только для встречи с неизвестным Лафкадио, чувствовал себя растерянным; между тем, случай представлялся отличный: быть может, эта женщина многое знает про молодого человека; если ее навести на разговор...

— Я хотел у него получить одну справку.

— Для кого?

«Уж не принимает ли она меня за полицейского?» — подумал Жюлиус.

— Я граф Жюлиус де Баральюль, — произнес он не без торжественности, слегка приподнимая шляпу.

— О, господин граф... Пожалуйста, простите, что я вас не... В этом коридоре так темно! Потрудитесь войти. — Она отворила дверь. — Лафкадио должен сейчас... Он только пошел... Ах, разрешите!

И, прежде чем Жюлиус успел войти, она бросилась в комнату, к дамским панталонам, нескромно разложенным на стуле, и, не будучи в состоянии их скрыть, постаралась по крайней мере сократить их.

— Здесь такой беспорядок...

— Оставьте, оставьте! Я привык, — снисходительно говорил Жюлиус.

Карола Венитекуа была довольно полная или, вернее, немного толстая молодая женщина, но хорошо сложенная и дышащая здоровьем; с лицом простым, но не вульгарным и довольно приятным; с животным и кротким взглядом; с блеющим голосом. Она собиралась куда-то идти и была в мягкой фетровой шляпе; на ней был корсаж в форме блузки, пересеченный длинным галстуком, мужской воротничок и белые манжеты.

— Вы давно знаете мсье Влуики?

— Может быть, я могу передать ему ваше поручение? — продолжала она, не отвечая на вопрос.

— Видите ли... Мне бы хотелось знать, очень ли он занят сейчас.

— Когда как.

— Потому что, если бы у него было свободное время, я бы хотел просить его... исполнить для меня небольшую работу.

— В каком роде?

— Вот как раз... мне бы и хотелось предварительно познакомиться с характером его занятий.

Вопрос был поставлен без всякого лукавства, но и внешность Каролы не приглашала к обинякам. Тем временем к графу Баральюлю вернулась вся его уверенность; он сидел теперь на стуле, очищенном Каролой, и та, рядом с ним, прислонясь к столу, начинала уже говорить, как вдруг в коридоре раздался громкий шум: дверь с треском распахнулась, и появилась та самая женщина, которую Жюлиус видел в карете.

— Я так и знала, — сказала она. — Когда я увидела, как он вошел...

И Карола, тотчас же отодвигаясь от Жюлиуса:

— Да вовсе нет, дорогая моя... Мы разговаривали. Моя подруга, Берта Гран-Марье; граф... извините! Я вдруг забыла ваше имя!

— Это неважно, — ответил Жюлиус, немного стесненный, пожимая руку в перчатке, протянутую ему Бертой.

— Представь и меня тоже, — сказала Карола...

— Послушай, милая: нас ждут уже целый час, — продолжала Берта, представив свою подругу. — Если ты желаешь беседовать с графом, возьми его с собой: у меня карета.

— Да он не меня хотел видеть.

— Тогда идем! Вы пообедаете с нами сегодня?..

— Я очень жалею...

— Вы меня извините, — сказала Карола, краснея и спеша увести приятельницу. — Лафкадио должен вернуться с минуты на минуту.

Уходя, женщины оставили дверь открытой; неустланый ковром, коридор был гулок; образуемый им угол не позволял видеть, не идет ли кто; но приближающегося было слышно.

«В конце концов, комната расскажет мне даже больше, чем женщина, надеюсь» — подумал

Жюлинос. Он спокойно приступил к осмотру.

Увы, в этой банальной меблированной комнате почти не на чем было остановиться его неопытному любопытству.

Ни книжного шкафа, ни рам на стенах. На камине — «Молль Флендерс» Даниеля Дефо, по-английски, в дрянном издании, лишь на две трети разрезанном, и «Новеллы» Антонио-Франческо Граццини, именуемого Ласка, — по-итальянски. Эти книги заинтересовали Жюлиноса. Рядом с ними, за бутылочной мятного спирта, его в такой же мере заинтересовала фотография: на песочном морском берегу — уже не очень молодая, но поразительно красивая женщина, опирающаяся на руку мужчины с сильно выраженным английским типом, изящного и стройного, в спортивном костюме; у их ног, сидя на опрокинутой душегубке, — коренастый мальчик лет пятнадцати, с густыми и растрепанными белокурыми волосами, с дерзким лицом, смеющийся и совершенно голый.

Взяв в руки фотографию и поднеся ее к свету, Жюлинос прочел в правом углу выцветшую надпись: «Дуино, июль 1886», которая ему мало что говорила, хоть он и вспомнил, что Дуино — небольшое местечко на австрийском побережье Адриатики. Покачивая головой и сжав губы, он поставил фотографию на место. В холодном каменном очаге ютились коробка с овсяной мукой, мешочек с чечевицей и мешочек с рисом; немного дальше, прислоненная к стене, стояла шахматная доска. Ничто не указывало Жюлиносу на то, какого рода трудам или занятиям этот молодой человек посвящает свои дни.

По-видимому, Лафкадио недавно завтракал; на столе еще стояла спиртовка с кастрюлечкой, а в кастрюлечку было опущено полое металлическое яйцо с дырочками, такое, какими пользуются для заварки чая запасливые туристы, и крошки вокруг допитой чашки. Жюлинос подошел к столу; в столе был выдвигной ящик, а в ящичке торчал ключ...

Мне бы не хотелось, чтобы на основании дальнейшего могли составить неверное представление о характере Жюлиноса: Жюлинос был менее всего нескромен; в жизни каждого он уважал то облачение, в которое тот считает нужным ее рядить; он чрезвычайно чтит приличия. Но перед отцовской волей ему приходилось смирить свой нрав. Он подождал еще немного, прислушиваясь; затем, так как кругом было тихо, — против воли, вопреки своим правилам, но с деликатным чувством долга, — потянул незапертый ящик.

Там лежала записная книжка в юфтяном переплете, каковую Жюлинос вынул и раскрыл. На первой странице он прочел следующие слова, той же руки, что и надпись на фотографии:

«Кадио, для записи счетов,

Моему верному товарищу, от старого дяди.

Феби.»

и под ними, почти вплотную, немного детским почерком, старательным, прямым и ровным:

«Дуино. Сегодня утром, 10 июля 1886 года, к нам приехал лорд Фебиэн. Он привез мне душегубку, карабин и эту красивую книжку».

На первой странице — ничего больше.

На третьей странице, с пометкой «29 августа», значилось:

«Дал Феби вперед 4 сажени».

И на следующий день:

«Дал вперед 12 сажен...»

Жюлинос понял, что это лишь тренировочные заметки. Перечень дней, однако, скоро обрывался, и, после белой страницы, значилось:

«20 сентября: Отъезд из Алжира в Аурес».

Затем несколько дат и названий местностей; и наконец, последняя запись:

«5 октября: возвращение в Эль-Кантару. 50 кил. on horse-back, без остановки».

Жюлиус перевернул несколько пустых листков; но немного дальше книжка как бы начиналась сызнова. В виде нового заглавия, вверху одной из страниц было тщательно выведено крупными буквами:

Qui incomincia il libro della nova esigenzae della suprema virtu,^[1]

И ниже, как эпитафия

«Tanto quanto se ne taglia»

Vossaccio.^[2]

Перед выражением нравственных идей интерес Жюлиуса сразу оживился; это было по его части. Но следующая же страница его разочаровала: опять пошли счета. Однако то были счета много порядка. Здесь значилось, уже без обозначения дат и мест:

«За то, что обыграл Протоса в шахматы 1 punta.

За то, что я показал, что говорю по-итальянски 3 punte.

За то, что я ответил раньше Протоса 1 punte.

За то, что за мной осталось последнее слово 1 punta.

За то, что я плакал, узнав о смерти Фебе 4 punte».

Жюлиус, читая наспех, решил, что «punta»^[3] — какая-нибудь иностранная монета, и увидел в этих записях всего лишь ребяческую и мелочную расценку заслуг и воздаяний. Затем счета снова обрывались. Жюлиус перевернул еще страницу, прочел:

«Сегодня, 4 апреля, разговор с Протосом.

Понимаешь ли ты, что значит: итти дальше?»

На этом записи кончались.

Жюлиус повел плечами, поджал губы, покачал головой и положил тетрадь на место. Он посмотрел на часы, встал, подошел к окну, взглянул на улицу; дождь перестал. Направляясь в угол комнаты, чтобы взять свой зонт, он вдруг заметил, что в дверях стоит, прислонясь, красивый белокурый молодой человек и с улыбкой смотрит на него.

Юноша с фотографии мало возмужал; Жюст-Ажерон говорил: девятнадцать лет; на вид ему нельзя было дать больше шестнадцати. Лафкадио, очевидно, только что вошел; кладя записную книжку на место. Жюлиус взглянул на дверь, и там никого не было: но как же он не слышал его шагов? И, невольно кинув взгляд на ноги молодого человека, Жюлиус увидел, что у того вместо сапог надеты калоши.

В улыбке Лафкадио не было ничего враждебного: он улыбался скорее весело, но иронически; на голове у него была дорожная каскетка, но, встретив взгляд Жюлиуса, он ее снял и вежливо поклонился.

— Господин Влуики? — спросил Жюлиус.

Молодой человек снова молча поклонился.

— Извините, что, поджидая вас, я расположился в вашей комнате. Правда, сам бы я не решился войти, но меня пригласили.

Жюлиус говорил быстрее и громче, чем обыкновенно, желая доказать самому себе, что он нисколько не смущен. Брови Лафкадио едва уловимо нахмурились; он направился к зонту Жюлиуса; не говоря ни слова, взял его и поставил обсыхать в коридор; потом, вернувшись в комнату, знаком пригласил Жюлиуса сесть.

— Вас, должно быть, удивляет мой визит?

Лафкадио спокойно достал из серебряного портсигара папиросу и закурил.

— Я сейчас объясню вам в нескольких словах причины моего прихода, которые вам сразу станут понятны...

По мере того как он говорил, он чувствовал, как испаряется его самоуверенность.

— Дело вот в чем... Но прежде всего разрешите мне назвать себя. — И, словно стесняясь произнести свое имя, он вынул из жилетного кармана визитную карточку и протянул ее Лафкадио, который, не глядя, положил ее на стол.

— Я... только что закончил довольно важную работу; это небольшая вещь, которую мне некогда перебелить самому. Мне сказали, что у вас отличный почерк, и я подумал, что, кроме того, — тут Жюлиус красноречиво окинул взором убогое убранство комнаты, — я подумал, что вы, быть может, не прочь...

— В Париже нет никого, — перебил его Лафкадио, — кто мог бы вам говорить о моем почерке. — Он остановил взгляд на ящике стола, где Жюлиус, сам того не заметив, сбил крохотную печать из мягкого воска; потом, резко повернув ключ в замке и пряча его в карман: — никого, кто имел бы право о нем говорить, — продолжал он, смотря на краснеющего Жюлиуса. — С другой стороны, — он говорил очень медленно, как-то глупо, без всякого выражения, — мне все еще не вполне ясны основания, по которым мсье... — он взглянул на визитную карточку: — по которым граф Жюлиус де Баральюль мог бы мной особо интересоваться. Тем не менее, — и вдруг его голос, как у Жюлиуса, сделался плавен и мягок, — ваше предложение заслуживает внимания со стороны человека, которому, как вы это сами могли заметить, нужны деньги. — Он встал. — Разрешите мне явиться к вам с ответом завтра утром.

Приглашение удалиться было недвусмысленно. Жюлиус чувствовал себя в слишком невыигрышном положении, чтобы противиться; он взялся за шляпу, помедлил:

— Мне бы хотелось поговорить с вами пообстоятельнее, — неловко произнес он. — Позвольте мне надеяться, что завтра... Я буду вас ждать, начиная с десяти часов.

Лафкадио поклонился.

Как только Жюлиус повернул за угол коридора, Лафкадио захлопнул дверь и запер ее на задвижку. Он бросился к столу, вынул из ящика записную книжку, раскрыл на последней, выдавшей тайну странице, и там, где, много месяцев тому назад, он остановился, вписал карандашом, крупным стоячим почерком, очень мало похожим на прежний:

«За то, что дал Олибриусу засунуть в эту книжку свой противный нос 1 punta».

Он вынул из кармана перочинный нож, с сильно сточенным лезвием, превратившимся в нечто вроде короткого шила, опалил его на спичке, потом, сквозь брючный карман разом вонзил его себе в бедро. Он невольно вделал гримасу. Но этого ему было мало. Под написанной фразой, не садясь, нагнувшись над столом, он прибавил:

«И за то, что я ему показал, что знаю это 2 punte».

На этот раз он решился не сразу: он расстегнул брюки и отогнул их сбоку. Взглянул на свое бедро, где из свежей ранки шла кровь; посмотрел на расположенные вокруг старые шрамы, напоминавшие следы от прививок. Снова опалил лезвие, потом очень быстро, раз за разом, дважды вонзил его себе в тело.

«В прежнее время я не принимал таких мер предосторожности» — подумал он, направляясь к склянке с мятным спиртом, которым и смочил свои порезы.

Его гнев немного утих, но, ставя склянку на место, он заметил, что фотография, где он был снят рядом с матерью, стоит не совсем так, как раньше. Тогда он ее схватил, с каким-то отчаянием посмотрел на нее еще раз, потом, с вспыхнувшим лицом, яростно разорвал ее. Обрывки он пытался сжечь; но они не загорались; тогда он освободил камин от заполнявших его мешочков и поставил туда, в виде тагана, свои единственные две книги, порвал, искромсал, скомкал записную книжку, положил сверху свое изображение и все это поджег.

Склонив лицо над огнем, он уверял себя, что вид этих горящих воспоминаний доставляет ему несказанное удовольствие; но, когда от них остался один пепел и он выпрямился, у него слегка кружилась голова. Комната была полна дыма. Он подошел к умывальнику и смочил себе лоб.

Теперь он более светлым взглядом взирал на визитную карточку.

— Граф Жюлиус де Баральюль, — повторял он. — *Dapprima importa sapere chi e.*^[4]

Он снял фуляр, заменявший ему и галстук, и воротничок, распахнул рубашку и, стоя у открытого окна, освежил себе грудь прохладным воздухом. Затем, вдруг заторопившись, обутый, в галстук, в серой фетровой шляпе, умиротворенный и цивилизованный, насколько возможно, Лафкадио запер за собой дверь и отправился на площадь Сен-Сюльпис. Там, против мэрии, в библиотеке Кардиналь, он наверное мог получить нужные ему сведения.

Когда он проходил галереей Одеона, ему бросился в глаза выставленный среди книг роман Жюлиуса; это был том в желтой обложке, один вид которого, в любой другой день, вызвал бы у Лафкадио зевоту. Он ощупал жилетный карман и бросил на прилавок пятифранковую монету.

«Будет чем топить вечером!» — подумал он, унося книгу и сдачу.

В библиотеке «Словарь современников» излагал в кратких словах аморфную карьеру Жюлиуса, приводил заглавия его сочинений, хвалил их в общепринятых выражениях способных отбить всякую охоту.

— Фу! — произнес Лафкадио.

Он уже готов был захлопнуть словарь, как вдруг в предшествовавшей статье заметил несколько слов, от которых вздрогнул. Несколькими строками выше абзаца: «Жюлиус де Баральюль (Виконт)», в биографии Жюста-Аженора, Лафкадио прочел: «Посланник в Бухаресте в 1873 году». Почему от этих простых слов у него так забилося сердце?

Лафкадио, которого его мать снабдила пятью дядями, никогда не знал своего отца; он соглашался считать его умершим и вопросов о нем не задавал. Что же касается дядей (все они были разных национальностей, и трое из них служили по дипломатической части), то он скоро понял, что они состояли с ним только в том родстве, которое им приписывала сама прекрасная Ванда. Лафкадио недавно исполнилось девятнадцать лет. Он родился в Бухаресте в 1874 году, другими словами, на исходе второго года службы в этом городе графа де Баральюля.

После загадочного визита Жюлиуса как мог он не увидеть в этом нечто большее, нежели простое совпадение? Он сделал над собой немалое усилие, чтобы дочитать до конца статью «Жюст-Аженор», но строчки прыгали у него перед глазами; во всяком случае, он уразумел, что граф де Баральюль, отец Жюлиуса, человек выдающийся.

Дерзкая радость вспыхнула у него в сердце и подняла там такой шум, что, как ему казалось, должно было быть слышно рядом. Но нет, эта телесная одежда была, положительно, прочна, непроницаема. Он взглянул украдкой на своих соседей, завсегдаев читального зала, поглощенных своей дурацкой работой... Он высчитывал: если граф родился в 1821 году, то ему теперь семьдесят два года. *Ma chi sa se vive ancora?*^[5] Он поставил словарь на место и вышел.

Синева очищалась от легких облаков, гонимых довольно свежим ветром. «*Importa di domesticare questo nuovo proposito*»^[6] — сказал себе Лафкадио, превыше всего ценивший свободное распоряжение самим собой; и, чувствуя невозможность укротить эту бурную мысль, он решил временно изгнать ее из головы. Он достал из кармана роман Жюлиуса и усиленно старался им заинтересоваться; но в этой книге не было ничего скрытого, ничего загадочного, и она меньше всего могла ему помочь забыться.

«И к этому-то автору я завтра явлюсь играть в секретари!» — невольно твердил он про себя.

Он купил в киоске газету и вошел в Люксембургский сад. Скамьи были мокры; он раскрыл книгу, сел на нее и, развернув газету, стал читать хронику. Сразу же, как если бы он знал, что найдет их тут, его глаза остановились на следующих строчках:

«Здоровье графа Жюст-Аженора де Баральюля, внушавшее, как известно, за последние дни серьезные опасения, подает надежду на улучшение; тем не менее, оно еще настолько слабо, что позволяет ему принимать лишь самых близких лиц».

Лафкадио вскочил со скамьи; во мгновение ока в нем созрело решение. Забыв про книгу, он бросился на улицу Медичи, к писчебумажному магазину, где, как он помнил, в витрине сулилось «немедленное изготовление визитных карточек, 100 штук 3 франка». На ходу он улыбался; смелость его внезапного замысла забавляла его, потому что на него напала жажда

приключений.

— Как скоро вы мне можете напечатать сотню карточек? — спросил он продавца.

— Вы их получите сегодня же вечером.

— Я заплачу вдвойне, если вы мне их приготовите к двум часам.

Продавец сделал вид, будто справляется по книге заказов.

— Чтобы оказать вам одолжение... хорошо, вы можете зайти за ними в два часа. На чье имя?

Тогда на поданном ему листке, без дрожи, не краснея, но со слегка замирающим сердцем, он написал:

«Лафкадио де Баральюль».

«Этот негодяй мне не верит, — сказал он про себя, уходя, оскорбленный тем, что продавец не проводил его более низким поклоном».

Затем, проходя мимо зеркальной витрины:

«Надо сознаться, что я действительно не похож на Баральюля! Ничего, мы постараемся достигнуть большего сходства».

Был двенадцатый час. Лафкадио, охваченный необычайным возбуждением, еще не ощущал голода.

«Сперва немного пройдемся, — думал он, — иначе я улечу. И будем держаться середины улицы; если я подойду к этим прохожим, они заметят, что я непомерно возвышаюсь над ними. Вот опять превосходство, которое нужно скрывать. Вечно приходится учиться».

Он зашел на почту.

«Площадь Мальзерб... это потом! — сказал он себе, отыскав в справочнике адрес графа Жюста-Аженора. — Но кто мне мешают произвести тем временем разведку в направлении улицы Вернейль?» (Это был адрес, значившийся на карточке Жюлиуса.)

Лафкадио знал эти места и любил их; оставив слишком людные улицы, он решил пойти в обход по тихой улице Ваню, где легче дышалось его юной радости. Сворачивая с Вавилонской улицы, он увидел бегущих людей; возле тупика Удино собралась толпа перед трехэтажным домом, из которого валил довольно скверный дым. Он заставил себя не ускорять шага, хоть и был весьма подвижен.

Лафкадио, мой друг, вы увлеклись уличным происшествием, и мое перо с вами расстается. Не ждите, чтобы я стал передавать несвязные речи толпы, крики...

Скользя, продвигаясь в этом сборище, как угорь, Лафкадио очутился в первом ряду. Там, стоя на коленях, рыдала какая-то несчастная.

— Мои дети! Мои малютки! — говорила она.

Ее поддерживала молодая девушка, изящно и просто одетая, очевидно посторонняя; она была очень бледна и так красива, что Лафкадио, едва увидев ее, заговорил в нею.

— Нет, я ее не знаю. Все, что я могла понять, это, что двое ее детей остались в той вот комнате в третьем этаже, куда скоро проникнет огонь; лестница уже горит; вызвали пожарных, но, пока они приедут, малютки задохнутся от дыма... Скажите, неужели же нельзя взобраться на балкон по каменной ограде и потом, видите, по этой тонкой водосточной трубе? Таким путем уже однажды, говорят, взбирались воры; но что другие сделали для того, чтобы украсть, никто их этих людей не решается сделать, чтобы спасти детей. Я обещала этот кошелек, но безуспешно. Ах, отчего я не мужчина!..

Лафкадио не стал дальше слушать. Положив трость и шляпу у ног молодой девушки, он бросился вперед. Без чьей-либо помощи он ухватился за край ограды; притянулся на руках, и вот, поднявшись во весь рост, двинулся по этому гребню, пробираясь среди торчащих черепков.

Но толпа еще больше оторопела, когда, ухватившись за водосточную трубу, он стал

подниматься на руках, едва опираясь время от времени носками о поперечные скобы. Вот он достиг балкона и берется одной рукой за перила; толпа восхищена и уже не трепещет, потому что, в самом деле, его ловкость изумительна. Он плечом выбивает стекла и проникает внутрь... Миг ожидания и невыразимого волнения... Затем он появляется снова, держа на руках плачущего малыша. Из разорванной пополам простыни, связав полотнища узлом, он соорудил нечто вроде веревки; он обвязывает ею ребенка, опускает его на руки обезумевшей матери. Второго так же...

Когда, наконец, спустился сам Лафкадио, толпа приветствовала его как героя.

«Меня принимают за клоуна» — подумал он, чувствуя с раздражением, что краснеет, и грубо отклоняя овации. Но, когда молодая девушка, к которой он снова подошел, смущенно протянула ему, вместе с тростью и шляпой, обещанный ею кошелек, он взял его, улыбаясь, и, вынув находившиеся там шестьдесят франков, передал деньги бедной матери, душившей поцелуями своих сыновей.

— Вы мне позволите сохранить кошелек на память о вас?

Это был маленький вышитый кошелек; он его поцеловал. Они взглянули друг на друга. Молодая девушка была взволнована, бледнее прежнего, и, казалось, хотела что-то сказать. Но Лафкадио вдруг убежал, прокладывая себе дорогу палкой, с таким хмурым видом, что его почти сразу перестали приветствовать и провожать.

Он вернулся к Люксембургскому саду, затем, наскоро закусив в «Гамбринусе», неподалеку от Одеона, торопливо вернулся к себе. Свои сбережения он хранил под половицей; из тайника вышли на свет три монеты по двадцать франков и одна в десять. Он подсчитал:

Визитные карточки: шесть франков.

Пара перчаток: пять франков.

Галстук: пять франков (хотя что я могу найти приличного за такую цену?).

Пара ботинок: тридцать пять франков (я от них не стану требовать долгой носки).

Остается девятнадцать франков на непредвиденные расходы.

(Из отвращения к долгу Лафкадио всегда платил наличными.)

Он подошел к шкафу и достал мягкий шевиотовый костюм, темный, безукоризненно сшитый, совершенно свежий.

«Беда в том, что я из него уже вырос...» — подумал он, вспоминая ту блестящую эпоху, еще недавнюю, когда маркиз де Жевр, его последний дядя, брал его с собой, ликующего, к своим поставщикам.

Плохое платье было для Лафкадио так же нестерпимо, как для кальвиниста — ложь.

«Прежде всего самое неотложное. Мой дядя де Жевр говорил, что человек узнается по обуви».

Из внимания к ботинкам, которые ему предстояло примерять, он первым делом переменял носки.

Граф Жюст-Аженор де Баральюль уже пять лет не выходил из своей роскошной квартиры на площади Мальзерб. Здесь он готовился к смерти, задумчиво бродя по загроможденным коллекциями залам, а чаще всего — запершись у себя в спальне и отдавая больные плечи и руки благотворному действию горячих полотенец и болеутоляющих компрессов. Огромный Фуляр цвета мадеры облекал его великолепную голову, как тюрбан, ниспадая свободным концом на кружевной воротник и на плотный вязанный жилет светлокориичневой шерсти, по которому серебряным водопадом расстилалась его борода. Его ноги, обтянутые белыми кожаными туфлями, покоились на подушке с горячей водой. Он погружал то одну, то другую бескровную руку в ванну с раскаленным песком, подогреваемую спиртовой лампой. Серый плед покрывал его колени. Конечно, он был похож на Жюлиуса; но еще больше на тициановский портрет, и Жюлиус давал лишь приторный список с его черт, так же как в «Воздухе Вершин» он дал лишь подслащенную картину его жизни и свел ее к ничтожеству.

Жюст-Аженор де Баральюль пил из чашки лекарство внимая назиданиям отца Авриля, своего духовника, к которому он за последнее время стал часто обращаться; в эту минуту в дверь постучали, и верный Эктор, уже двадцать лет исполнявший при нем обязанности лакея, сиделки, а при случае — советника, подал на лаковом подносе небольшой запечатанный конверт.

— Этот господин надеется, что господин граф изволит его принять.

Жюст-Аженор отставил чашку, вскрыл конверт и вынул визитную карточку Лафкадио. Он нервно смял ее в руке:

— Скажите, что... — затем, овладевая собой: — Господин? ты хочешь сказать молодой человек? А на что он похож?

— Господин граф вполне может его принять.

— Дорогой аббат, — сказал граф, обращаясь к отцу Аврилю, — извините, что мне приходится просить вас прервать нашу беседу; но непременно приходите завтра; у меня, вероятно, будет, что вам сказать, и я думаю, вы останетесь довольны.

Пока отец Авриль выходил в гостиную, он сидел, подперши лоб рукой; затем поднял голову:

— Попросите.

Лафкадио вошел в комнату с поднятым челом, с мужественной уверенностью; подойдя к старику, он молча склонился. Так как он дал себе слово не говорить, пока не сосчитает до двенадцати, граф начал первый:

— Во-первых, знайте, что Лафкадио де Баральюля не существует, — сказал он, разрывая карточку. — И не откажите предупредить господина Лафкадио Влуики, так как вы с ним близки, что, если он вздумает играть этими табличками, если он не порвет их все, как я рву вот эту (он искрошил ее на мелкие кусочки и бросил их в пустую чашку), я тотчас же дам о нем знать полиции и велю его арестовать как обыкновенного шантажиста. Вы меня поняли?.. А теперь повернитесь к свету, чтобы я мог вас разглядеть.

— Лафкадио Влуики исполнит вашу волю. — Его голос, очень почтительный, слегка дрожал. — Извините его, если он прибег к такому средству, чтобы проникнуть к вам, он был далек от каких бы то ни было бесчестных намерений. Ему бы хотелось убедить вас, что он заслуживает... хотя бы вашего уважения.

— Вы хорошо сложены. Но этот костюм плохо сидит, — продолжал граф, который как бы ничего не слышал.

— Так, значит, я не ошибся? — произнес Лафкадио, решаясь улыбнуться и покорно давая себя осматривать.

— Слава богу! Он похож на мать, — прошептал старый Баральюль.

Лафкадио подождал, затем, почти шопотом и пристально глядя на графа:

— Если я не буду слишком стараться, неужели мне совершенно запрещено быть похожим также и на...

— Я говорю о внешнем сходстве. Если вы похожи не только на вашу мать, бог не оставит мне времени в этом убедиться.

Тут серый плед соскользнул с его колен на пол.

Лафкадио бросился поднимать и, нагнувшись, почувствовал, как рука старика тихо легла ему на плечо.

— Лафкадио Влуики, — продолжал Жюст-Аженор, когда юноша выпрямился, — мои минуты сочтены; я не стану состязаться с вами в остроумии; это бы меня утомило. Я допускаю, что вы не глупы; мне приятно, что вы не безобразны. Ваша выходка говорит об известной удали, которая вам к лицу; я счел это было за наглость, но ваш голос, ваши манеры меня успокаивают. Об остальном я просил моего сына Жюлиуса меня осведомить; но я вижу, что это не очень меня интересует и что для меня важнее было вас увидеть. Теперь, Лафкадио, выслушайте меня: ни один акт гражданского состояния, ни одна бумага не свидетельствует о вашем происхождении. Я позаботился о том, чтобы вы были лишены возможности искать что бы то ни было по суду. Нет, не уверяйте меня ни в чем, это лишнее; не перебивайте меня. То, что до сегодняшнего дня вы молчали, служит мне порукой, что ваша мать сдержала слово и ничего вам не говорила обо мне. Это хорошо. Я исполню свое обязательство по отношению к ней и докажу вам мою признательность. Через посредство Жюлиуса, моего сына, невзирая на формальные трудности, я передам вам ту долю наследства, которую я обещал вашей матери вам уделить. Другими словами, за счет моей дочери, графини Ги де Сен-При, я увеличу долю моего сына Жюлиуса в той мере, какая допустима по закону, а именно на ту сумму, которую я хочу, при его посредстве, оставить вам. Это составит, я думаю... около сорока тысяч франков годового дохода; у меня сегодня будет мой нотариус, и мы с ним рассмотрим эти цифры... Сядьте, если вам так удобнее меня выслушать. (Лафкадио оперся было о край стола.) Жюлиус может всему этому воспротивиться; на его стороне закон; но я полагаюсь на его порядочность; и полагаюсь на вашу порядочность в том, что вы никогда не потревожите семью Жюлиуса, как ваша мать никогда не тревожила моей семьи. Для Жюлиуса и его близких существует только Лафкадио Влуики. Я не хочу, чтобы вы носили по мне траур. Дитя мое, семья есть нечто великое и замкнутое; вы всегда будете всего лишь незаконнорожденный.

Лафкадио не сел, несмотря на приглашение отца, который увидел, что он шатается; он поборол головокружение и теперь опирался о край стола, на котором стояли чашка и грелки; его поза была чрезвычайно почтительна.

— Теперь скажите: вы, значит, видели сегодня утром моего сына Жюлиуса. Он вам сказал...

— Он ничего, в сущности, не сказал; я догадался.

— Увалень!.. Нет, это я о нем... Вы с ним еще увидите?

— Он меня пригласил к себе в секретари.

— Вы согласились?

— Это вам неприятно?

— Нет. Но мне кажется, было бы лучше, чтобы вы... не узнавали друг друга.

— Я тоже так думаю. Но, и не узнавая его, я бы все-таки хотел немного с ним познакомиться.

— Но ведь не намерены же вы, надеюсь, долго занимать это подчиненное положение?

— Нет, только чтобы немного поправить дело.

— А затем что вы собираетесь делать. раз вы теперь богаты?

— Ах, вчера мне почти не на что было поесть; дайте мне время узнать мой аппетит.

В эту минуту Эктор постучал в дверь:

— Господин виконт желает видеть господина графа. Могу я попросить его?

Лицо старика омрачилось; он сидел молча, но, когда Лафкадио вежливо встал, собираясь итти:

— Оставайтесь! — воскликнул Жюст-Аженор с такой силой, что молодой человек был покорен; потом, обращаясь к Эктору: — Что же, тем хуже для него! Я же его просил не приходить... Скажи, что я занят, что я ему напишу.

Эктор поклонился и вышел.

Старый граф сидел некоторое время с закрытыми глазами; казалось, он спит, но видно было, как под усами у него шевелятся губы. Наконец, он поднял веки, протянул Лафкадио руку и совсем другим голосом, мягким и словно упавшим:

— Дайте руку, дитя мое. Теперь вы должны меня оставить.

— Я вынужден сделать вам одно признание, — нерешительно произнес Лафкадио. — Чтобы явиться к вам в приличном виде, я истратил все, что у меня было. Если вы мне не поможете, я плохо себе представляю, как я сегодня пообедаю; и уже совсем не представляю себе, как пообедаю завтра... разве только ваш сын...

— Возьмите пока это, — сказал граф, вынимая из ящика стола пятьсот франков. — Ну? Чего же вы ждете?

— И потом я хотел вас спросить... могу ли я надеяться увидеть вас еще раз?

— Признаться, это доставило бы мне большое удовольствие. Но преподобные особы, которые заботятся о моем спасении, поддерживают во мне такое настроение, что своими удовольствиями я поступаюсь. Но благословить вас я хочу теперь же, — и старик раскрыл объятия. Лафкадио не бросился в них, а благоговейно преклонился возле графа и, припав головой к его коленям, рыдая и исходя нежностью от его прикосновения, почувствовал, как тает его сердце, лелеявшее такие суровые решения.

— Дитя мое, дитя мое, — лепетал старик, — я долго заставил вас ждать.

Когда Лафкадио встал, его лицо было все в слезах.

Собравшись итти и пряча ассигнацию, которую он оставил было лежать, он нащупал у себя в кармане визитные карточки и протянул их графу:

— Возьмите, тут они все.

— Я вам верю; вы их уничтожите сами. Прощайте!

«Какой бы это был отличный дядя! — размышлял Лафкадио, возвращаясь в Латинский квартал. — А то, пожалуй, и больше, чем дядя, — добавил он с легкой меланхолией. — Да что уж там!» — Он вынул пачку карточек, развернул ее веером и без всякого усилия разом порвал.

— Я никогда не доверял сточным трубам, пробормотал он, бросая «Лафкадио» в ближайшее отверстие; и только двумя отверстиями дальше бросил «де Баральюль».

«Баральюль или Влуики — это все равно, — займемся ликвидацией нашего прошлого».

На бульваре Сен-Мишель был ювелирный магазин, у которого Карола заставляла его останавливаться каждый день. Третьего дня она увидела в его кричащей витрине оригинальную пару запонок. Они изображали четыре кошачьих головы в оправе, соединенных попарно золотой цепочкой и выточенных из какого-то странного кварца, вроде дымчатого агата, сквозь который ничего не было видно, хоть он и казался прозрачным. Так как при своем корсаже мужского покроя, — то, что принято называть: костюм «tailleur», — Венитекуа, как мы уже

сказали, носила манжеты и так как у нее был несуразный вкус, то она мечтала об этих запонках.

Они были не столько забавны, сколько странны; Лафкадио находил, что они отвратительны; он рассердился бы, увидев их на своей возлюбленной; но раз он с ней расставался... Войдя в магазин, он заплатил за них сто двадцать франков.

— Попрошу у вас листок бумаги.

И, получив его у продавца, он, наклонясь над прилавком, написал:

«Кароле Венитекуа.

В знак благодарности за то, что она привела незнакомца в мою комнату, и с просьбой не переступить больше ее порога».

Сложив листок, он всунул его в коробочку, в которую продавец упаковывал запонки.

«Не будем торопиться, — сказал он себе, собравшись было передать коробочку швейцару. — Проведем ночь под этим кровом и только запремся на сегодняшний вечер от мадмуазель Каролы».

Жюлиус де Баральюль жил под длительным режимом временной морали, той самой, которой решил следовать Декарт, пока не установит твердых правил, по коим жить и тратить впредь. Но Жюлиус не обладал ни настолько непримиримым темпераментом, ни настолько повелительной мыслью, чтобы его как-нибудь особенно стесняло соблюдение общепринятых приличий. В конечном счете ему нужен был комфорт, куда входили и его писательские успехи. Когда разбрали его последнюю книгу, он впервые почувствовал себя задетым.

Он был немало обижен отказом отца принять его; он был бы обижен еще более, если бы знал, кто его опередил у старика. Возвращаясь на улицу Вернейль, он все нерешительнее и нерешительнее отклонял дерзкую догадку, которая не давала ему покоя, еще когда он шел к Лафкадио. Он также сопоставлял факты и даты; он также отказывался видеть в этом странном соответствии простое совпадение. Впрочем, юная прелесть Лафкадио его пленила, и хотя он и подозревал, что ради этого побочного брата отец лишит его части наследства, он не чувствовал к нему ни малейшего недоброжелательства; он даже ждал его к себе в это утро с каким-то нежным и предупредительным любопытством.

Что же касается Лафкадио, то, несмотря на всю его недоверчивость и скрытность, этот редкий случай поговорить его прельщал; равно как удовольствие слегка досадить Жюлиусу. Ибо даже с Протосом он никогда не бывал особенно откровенен. Как давно все это было! В общем, он не мог сказать, чтобы Жюлиус ему не нравился, хоть в нем и было что-то кукольное; его забавляла мысль, что это его брат.

Когда в это утро, на следующий день после визита Жюлиуса, он шел к нему, с ним случилось довольно странное происшествие. Из любви к обходам, быть может по наущению своего гения, а также чтобы унять некоторое волнение в душе и в теле, и желая предстать перед братом в полном обладании собой, Лафкадио избрал самый длинный путь; он направился по бульвару Инвалидов, свернул к тому дому, где был пожар, затем пошел по улице Бельшас:

«Улица Вернейль тридцать четыре, — повторял он про себя на ходу. — Четыре и три — семь; число хорошее».

Сворачивая с улицы Сен-Доминик на бульвар Сен-Жермен, он вдруг заметил на той стороне бульвара как будто ту самую девушку, которая со вчерашнего дня все время как-то не выходила у него из головы. Он сразу ускорил шаг... Это была она! Он нагнал ее в конце короткой улицы Виллерсексель, но, полагая, что подойти к ней было бы не по-баральюлевски, просто улыбнулся ей, с легким поклоном и скромно приподняв шляпу; затем, быстро обогнав ее, счел всего уместнее броситься в табачную лавочку, а молодая девушка, снова его опередив, свернула в улицу Университета.

Выйдя из лавочки и свернув в свою очередь в вышеназванную улицу, Лафкадио начал озираться по сторонам: девушка исчезла. — Лафкадио, мой друг, вы впадаете в банальность; если вы собираетесь влюбиться, не рассчитывайте, что мое перо станет описывать смятение вашего сердца... Но нет: он счел бы неудобным пуститься на поиски; к тому же он не желал опаздывать к Жюлиусу, а сделанный им уже крюк не позволял ему больше терять времени. К счастью, до улицы Вернейль оставалось недалеко, дом, где жил Жюлиус, был на первом же углу. Лафкадио назвал швейцару имя графа и устремился наверх по лестнице.

Между тем Женевьева де Баральюль, — ибо то была она, старшая дочь графа Жюлиуса, возвращавшаяся из детской больницы, куда она ходила каждое утро, — взволнованная еще больше, чем Лафкадио, этой новой встречей, второпях вернулась под отчий кров; войдя в ворота, как раз когда Лафкадио огибал угол, она успела подняться до третьего этажа, как вдруг

услыхала позади себя чьи-то быстрые шаги и обернулась; кто-то обгонял ее по лестнице; она посторонилась, чтобы дать дорогу, но, узнав Лафкадио, удивленно остановившегося перед ней:

— Неужели вы считаете достойным преследовать меня? — сказала она насколько можно более гневным голосом.

— Увы! Что вы обо мне думаете? — воскликнул Лафкадио. — Вы мне не поверите, если я вам скажу, что я не видел, как вы вошли в этот дом, и что я крайне удивлен, встретив вас здесь. Ведь здесь живет граф Жюлиус де Баральюль?

— Как! — отвечала Женевьева, краснея. — Уж не вы ли тот новый секретарь, которого ждет мой отец? Мсье Лафкадио Влу... у вас такое странное имя, что я не знаю, как его произнести.

И, пока Лафкадио, тоже краснея, отвешивал поклон:

— Раз мы с вами встретились здесь, могу я вас просить, как об одолжении, ничего не говорить моим родителям о вчерашнем случае, который им едва ли понравился бы; и в особенности о кошельке, который я им сказала, что потеряла?

— Я тоже хотел очень просить вас умолчать о той нелепой роли, которую я перед вами разыграл. Я — как ваши родители: я отказываюсь ее понять и никоим образом не одобряю. Вы, должно быть, приняли меня за ньюфаундленда. Я не мог удержаться... Простите меня. Мне еще надо поучиться... Но я выучусь, уверяю вас... Дайте мне вашу руку!

Женевьева де Баральюль, не сознававшаяся самой себе, что она находит Лафкадио удивительно красивым, не созналась и Лафкадио, что он не только не показался ей смешным, но принял для нее образ героя. Она подала ему руку, и он горячо поднес ее к губам; затем, с простой улыбкой, она попросила его спуститься несколькими ступенями ниже и подождать, пока она войдет и захлопнет за собою дверь, и только тогда позвонить самому, так, чтобы их не видели вместе; а главное, не показывать виду перед другими, что они уже встречались.

Несколько минут спустя Лафкадио входил в кабинет романиста.

Жюлиус встретил его весьма любезно, но вел себя неумело; тот сразу перешел к обороне:

— Я должен вас предупредить: я терпеть не могу благодарности; так же, как и долгов; и что бы вы для меня ни сделали, вы меня не заставите чувствовать себя обязанным перед вами.

Тут огрызнулся и Жюлиус:

— Я отнюдь не пытаюсь вас купить, мсье Влуики, — начал он повышенным голосом.

Но, видя, что они отрезают себе отступление, они сразу спохватились оба и, после краткого молчания:

— Какую же, собственно, работу вы хотели мне поручить? — начал Лафкадио, уже мягче.

Жюлиус уклонился от ответа, ссылаясь на то, что текст еще не вполне готов; но, впрочем, им не мешает предварительно познакомиться немного ближе.

— Сознайтесь, — весело продолжал Лафкадио, — что вчера вы не стали меня дожидаться, чтобы начать это знакомство, и почтили вашим вниманием некую записную книжку?..

Жюлиус растерялся и, не без смущения:

— Сознаюсь, я это сделал, — отвечал он; затем, с достоинством: — и приношу извинения. Если бы этот случай представился снова, я бы так больше не поступил.

— Он уже не представится; я сжег эту книжку.

На лице Жюлиуса изобразилось огорчение:

— Вы очень рассержены?

— Если бы я еще сердился, я бы с вами не стал об этом говорить. Извините меня, если, войдя сюда, я начал таким тоном, — продолжал Лафкадио, решив идти дальше. — Мне все-таки хотелось бы знать, прочли ли вы также письмо, которое лежало в книжке?

Письма Жюлиус не читал по той причине, что его не заметил; но он воспользовался этим,

чтобы перейти к заверениям в своей корректности. Лафкадио над ним потешался, а также потешался и тем, что этого не скрывает.

— Я уже отчасти отомстил вашей последней книге, вчера.

— Она вряд ли могла бы вас заинтересовать, — поспешил вставить Жюлиус.

— О, я ее прочел не всю. Я должен вам признаться, что вообще я не особенный любитель чтения. По правде говоря, мне всегда нравился только «Робинзон»... Да еще «Аладдин»... Я очень роняю себя в вашем мнении.

Жюлиус приподнял руку:

— Мне вас просто жаль, вы себя лишаете великих радостей.

— У меня есть другие.

— Которые, быть может, не столь доброкачественны.

— Можете не сомневаться!

И Лафкадио довольно-таки дерзко рассмеялся.

— За что вы когда-нибудь поплатитесь, продолжал Жюлиус, слегка уязвленный насмешкой.

— Когда будет уже слишком поздно, — наставительно закончил Лафкадио; потом, вдруг: — Вам доставляет большое удовольствие писать?

Жюлиус выпрямился:

— Я пишу не для удовольствия, — гордо произнес он. — Наслаждение, которое я испытываю, когда пишу, выше тех, которые мне могла бы подарить жизнь. Впрочем, одно не мешает другому...

— Говорят... — Затем, вдруг повышая голос, который он было понизил как бы по небрежности: — Знаете, что отбивает у меня вкус к писанию? Это исправления, которые при этом делаешь, помарки, прикрасы.

— А в жизни, по-вашему, мы себя не исправляем? — спросил Жюлиус, оживляясь.

— Вы меня не поняли. В жизни, говорят, мы себя исправляем, улучшаем себя; но того, что сделано, поправить нельзя. Вот это-то право переделывать и превращает писание в нечто до того тусклое и до того... — Он не кончил. — Да, в жизни мне именно и кажется таким прекрасным то, что работаешь краской по сырому слою. Подскабливать нельзя.

— А в вашей жизни было бы что подскоблить?

— Нет... пока еще не так много... А так как нельзя... — Лафкадио помолчал, потом: — И все-таки именно из желания подскоблить я сжег свою записную книжку!.. Слишком поздно, вы сами видите... Но признайтесь, вы мало что в ней поняли?

Нет, в этом Жюлиус признаться не мог.

— Вы мне разрешите задать вам несколько вопросов? — сказал он вместо ответа.

Лафкадио так порывисто поднялся с места, что Жюлиус подумал, будто он хочет бежать; но он всего только подошел к окну и, приподымая легкую штору:

— Это ваш сад?

— Нет, — ответил Жюлиус.

— Я еще никогда никому не позволял хоть сколько-нибудь заглядывать в мою жизнь, — продолжал Лафкадио, не оборачиваясь. Затем, снова подойдя к Жюлиусу, который видел в нем теперь просто-напросто мальчишку: — Но сегодня — праздник; я хочу устроить себе каникулы, единственный раз в жизни. Задавайте вопросы, я обязуюсь ответить на все... Ах, я забыл вам сказать, что я прогнал эту девицу, которая вас вчера впустила ко мне.

Жюлиус, из приличия, принял удрученный вид.

— Из-за меня! Поверьте...

— Полноте, я и без того искал случая от нее отделаться.

— Вы... жили с ней? — нескладно спросил Жюлиус.

— Да, ради гигиены... Но как можно меньше, и в память друга, который был ее любовником.

— Это не мсье Протос? — рискнул спросить Жюлиус, твердо решивший побороть в себе всякое возмущение, брезгливость, неудовольствие и на этот раз, для начала, лишь постольку давать ход своему удивлению, поскольку то потребует, чтобы несколько оживить беседу.

— Да, Протос, — отвечал Лафкадио, весело смеясь. — Хотите знать, кто такой Протос?

— Некоторое знакомство с вашими друзьями могло бы мне помочь узнать и вас.

— Это итальянец, по имени... право, не помню, да это и не важно. Его товарищи, и даже учителя, звали его только по прозвищу, после того как однажды он вдруг лучше всех написал греческое сочинение.

— Я не помню, чтобы сам когда-либо бывал первым, — сказал Жюлиус, чтобы способствовать откровенности, — но я тоже всегда любил дружить с первыми учениками. Итак, Протос...

— О, это было на пари. Раньше он был одним из последних в нашем классе, хоть и принадлежал к числу великовозрастных, тогда как я был из самых младших, но учился от этого, признаюсь, не лучше. Протос питал великое презрение ко всему тому, чему нас учили; однако, когда один из наших мастеров по части сочинений, которого он терпеть не мог, сказал ему как-то: очень удобно относиться свысока к тому, на что сам неспособен (или что-то в этом роде), Протос озлился, засел на целых две недели и на следующем сочинении обогнал его — оказался первым, к великому изумлению всех. Правильнее было бы сказать: их всех. Что касается меня, то я настолько высоко ставил Протоса, что не был особенно удивлен. Он мне сказал: «Я им покажу, что это совсем не так уж трудно!» Я ему поверил.

— Насколько я могу понять, Протос имел на вас влияние.

— Может быть. Он мне импонировал. По правде говоря, у меня был с ним всего один только откровенный разговор; но разговор этот оказался для меня таким убедительным, что на следующий день я убежал из пансиона, где выцветал, как салат под горшком, и пришел пешком в Баден, где моя мать жила в то время вместе с моим дядей, маркизом де Жевром... Но мы начали с конца. Я чувствую, что вы бы меня расспрашивали очень неудачно. Дайте, я вам лучше расскажу мою жизнь. Так вы узнаете гораздо больше, чем путем вопросов, пожалуй, даже больше, чем хотели бы узнать... Нет, благодарю, я предпочитаю свои, сказал он, доставая портсигар и бросая папиросу, которую ему предложил было Жюлиус и которая, пока он говорил, потухла.

— Я родился в Бухаресте, в 1874 году, — медленно начал он, — и, как вам, кажется, известно, лишился отца, когда мне было всего только несколько месяцев от роду. Первым, кого я помню возле моей матери, был немец, мой дядя барон Хельденбрук. Но так как я его потерял на тринадцатом году жизни, то у меня осталось о нем довольно смутное воспоминание. Это был, говорят, замечательный финансист. Он выучил меня говорить по-немецки, а считать научил при помощи таких искусных приемов, что я сразу же необычайно увлекся этим делом. Он сделал меня, как он шутя говорил, своим кассиром; другими словами, он снабжал меня кучей мелких денег, и всюду, где я с ним бывал, на мне лежала обязанность расплачиваться. Что бы он ни покупал (а покупал он много), он требовал, чтобы я успевал произвести подсчет, пока достаю деньги из кармана. Иной раз он обременял меня иностранными деньгами, и тогда возникали вопросы курса; далее шли учет, проценты, ссуда; наконец, даже спекуляция. Благодаря такого рода занятиям я скоро научился довольно недурно помножать и даже делить в уме многозначные числа... Не бойтесь, — он увидел, что Жюлиус хмурит брови, — ни к деньгам, ни к вычислениям я не пристрастился. Так, если это вам интересно знать, я никогда не веду счетов. В сущности, эти первые уроки были чисто практические и деловые и не затронули во мне никаких внутренних пружин... Затем Хельденбрук был очень опытен по части детской гигиены; он убедил мою мать выпускать меня без шапки и босиком во всякую погоду и как можно больше держать на свежем воздухе; он сам купал меня в холодной воде как летом, так и зимой; мне это очень нравилось... Но к чему вам все эти подробности?

— Нет, нет!

— Потом ему пришлось уехать по делам в Америку. Больше я с ним не встречался.

В Бухаресте гостиные моей матери были открыты для самого блестящего и, насколько я могу судить по воспоминаниям, самого смешанного общества; но запросто у нее чаще всего бывали мой дядя князь Владимир Белковский и Арденго Бальди, которого я почему-то никогда не называл дядей. Интересы России (я чуть не сказал — Польши) и Италии задержали их в Бухаресте на три или четыре года. Каждый из них научил меня своему языку, то есть итальянскому и польскому, потому что если по-русски я и читаю и понимаю без особого труда, то говорить никогда свободно не мог. Благодаря обществу, которое бывало у моей матери и где меня баловали, не проходило дня, чтобы я, таким образом, не имел случая упражняться в четырех или пяти языках, и уже тринадцати лет я говорил на них без всякого акцента, почти одинаково хорошо; но охотнее всего — по-французски, потому что это был язык моего отца и мать желала, чтобы я прежде всего выучился ему.

Белковский очень много занимался мной, как и все, кто хотел понравиться моей матери; можно было подумать, что ухаживают не за ней, а за мной, но он мне кажется, поступал так вполне бескорыстно, потому что всегда следовал только своим влечениям, порывистым и многосторонним. Мной он занимался даже больше, чем о том знала моя мать, и мне чрезвычайно льстило, что он выказывает мне такое особое внимание. Этот странный человек сразу же превратил нашу скорее тихую жизнь в какой-то безумный праздник. Нет, мало сказать, что он следовал своим влечениям; он отдавался им неудержимо, очертя голову; в свои удовольствия он вносил что-то исступленное.

Три лета кряду он увозил нас на виллу, или, вернее, в замок на венгерском склоне Карпат, около Эперьеша, куда мы часто ездили в коляске. Но еще чаще мы катались верхом; и моей матери ничто так не нравилось, как мчаться наугад по окрестным лугам и лесам, замечательно красивым. Пони, которого мне подарил Владимир, я год с лишним любил больше всего на свете.

На второе лето к нам приехал Арденго Бальди; тогда-то он меня и научил играть в шахматы. Приученный Хельденбруком к вычислениям в уме, я довольно скоро начал играть, не глядя на доску.

Бальди отлично ладил с Белковским. По вечерам, в одинокой башне, окруженные тишиной парка и лесов, мы вчетвером подолгу засиживались за картами; потому что, хоть я и был еще ребенок, — мне было тринадцать лет, — Бальди, чтобы не играть «с болваном», научил меня играть в вист и плутовать.

Жонглер, фокусник, престижиджитатор, акробат; когда он к нам приехал, мое воображение только еще начинало отвыкать от того долгого поста, который на него наложил Хельденбрук; я изголодался по чудесному, я был доверчив и нежно любопытен. Впоследствии Бальди объяснил мне свои штуки; которое я испытал в первый же вечер, когда он преспокойно закурил о мизинец папиросу, а потом, проиграв в карты, извлек у меня из уха и из носу сколько надо было рублей, что повергло меня прямо-таки в трепет, но очень забавляло зрителей, потому что он повторял все тем же невозмутимым голосом: «Хорошо, что этот мальчуган — неисчерпаемый рудник!»

Когда ему случалось оставаться вечером втроем с моей матерью и со мной, он всякий раз придумывал какую-нибудь новую игру, какую-нибудь неожиданность или шутку; он передразнивал всех знакомых, гримасничал, терял всякое сходство с самим собой, подражал всевозможным голосам, крикам животных, шуму разных орудий, издавал удивительные звуки, пел, аккомпанируя себе на гудке, танцевал, прыгал, ходил на руках, скакал через столы и стулья или, разувшись, жонглировал ступнями по-японски, вертя на пальцах ног ширму или столик; еще лучше жонглировал он руками; из смятой и рваной бумаги он делал множество белых бабочек, которых я гонял, дуя на них, а он поддерживал в воздухе, помахивая снизу веером. Таким образом, в его присутствии предметы утрачивали вес и реальность, а то и вовсе исчезали, или же приобретали новый смысл, неожиданный, странный, чуждый всякой полезности.

«Очень мало найдется вещей, которыми не было бы забавно жонглировать» — говорил он, и так уморительно, что я помирал со смеху, а мать восклицала: «Перестаньте, Бальди! Кадио ни за что не уснет». И, действительно, у меня были крепкие нервы, раз они выдерживали такое возбуждение.

Я много извлек из этих уроков; через короткое время я кое в чем мог бы самому Бальди дать несколько очков вперед и даже...

— Я вижу, дитя мое, вы получили очень тщательное воспитание, — перебил его Жюлиус.

Лафкадио рассмеялся, крайне потешаясь изумленным видом романиста.

— О, все это было совершенно поверхностно; не бойтесь! Но пора было, не правда ли, чтобы появился дядя Феби. Он и приехал к моей матери, когда Белковский и Бальди получили новые назначения.

— Феби? Это его почерк я видел на первой странице вашей записной книжки?

— Да. Фебиэн Тейлор, лорд Гревенсдель. Он нас увез, мою мать и меня, на виллу, которую снял около Дуино, на Адриатике, и там я очень окреп. Берег в этом месте выступал скалистым полуостровом, который наша усадьба занимала целиком. Там, под соснами, среди скал, в глубине заливов или в открытом море, плавая и гребя на байдарке, я целые дни проводил как дикарь. К этой поре и относится та фотография, которую вы видели, которую я тоже сжег.

— Мне бы казалось, — заметил Жюлиус, — что для такого случая вы бы могли принять более пристойный вид.

— В том-то и дело, что я не мог, — смеясь, продолжал Лафкадио: — желая, чтобы я загорел, Феби держал под ключом все мои костюмы, даже белье...

— А ваша матушка что на это говорила?

— Это ее очень забавляло; она говорила, что если наших гостей это смущает, они вольны

уехать, но ни одному из них это не мешало оставаться.

— А ваше образование, тем временем, бедное мое дитя!..

— Да я учился так легко, что моя мать до тех пор не слишком о нем заботилась: мне было уже почти шестнадцать лет; мать как будто вдруг заметила это, и после чудесного путешествия в Алжирию, которое я совершил с дядей Феби (мне кажется, это было лучшее время моей жизни), меня отправили в Париж и поручили некоему непромокаемому тюремщику, который и занялся моим обучением.

— После такой чрезмерной свободы, понятно, это подневольное состояние могло, действительно, показаться вам немного тяжелым.

— Я бы никогда его не вынес, если бы не Протос. Он жил в том же пансионе, что и я, и, якобы, учился французскому языку; но по-французски он говорил превосходно, и я не мог понять, что он тут делает, как не понимал и того, что сам я тут делаю. Я изнывал; не то чтобы я дружил с Протосом, но меня тянуло к нему, как если бы через него должно было прийти мое избавление. Значительно старше меня, он казался еще старше своих лет, и ни в манерах, ни во вкусах у него уже не оставалось ничего детского. Лицо его, если он того хотел, бывало необыкновенно подвижно и могло выражать все, что угодно; но в минуту покоя он принимал совершенно тупой вид. Когда я как-то пошутил над этим, он мне ответил, что в жизни важно никогда не казаться тем, что ты есть.

Ему было мало казаться скромным; он хотел казаться дураком. Он любил говорить, что людей губит то, что учению они предпочитают парад и не умеют скрывать своих дарований; но это он говорил мне одному. Он жил в стороне от всех; и даже от меня, единственного человека в пансионе, которого он не презирал. Когда мне удавалось его разговорить, он становился необычайно красноречив; но по большей части он бывал молчалив и, казалось, вынашивал какие-то мрачные замыслы, в которые мне всегда хотелось проникнуть. Когда я его спрашивал: «Что вы здесь делаете?» (никто из нас не был с ним на ты) — он отвечал: «Собираюсь с силами». Он утверждал, что в жизни можно выйти из самых трудных положений, если уметь сказать себе, когда надо: пустяки! Что я себе и сказал, когда решил бежать.

Отправившись в путь с восемнадцатью франками, я добрался до Бадена небольшими переходами, питаясь чем попало, ночуя где придется... Я пришел немного потрепанным; но, в общем, был доволен собой, потому что в кармане у меня еще оставалось три франка; правда, по дороге я нажил франков пять-шесть. Я застал там мою мать и моего дядю де Жевра, которого очень позабавил мой побег и который решил еще раз свезти меня в Париж; по его словам, он не мог перенести, что у меня осталось о Париже дурное воспоминание. Во всяком случае, когда я туда вернулся вместе с ним, Париж предстал мне в несколько лучшем свете.

Маркиз де Жевр до безумия любил тратить деньги; это была у него постоянная, ненасытная потребность; он как будто был мне благодарен, что я ему помогаю ее утолять и своим аппетитом поддерживаю его аппетит. В полную противоположность Феби, он привил мне вкус к одежде; мне кажется, я довольно недурно научился ее носить; с ним я прошел хорошую школу: его изящество было вполне естественное, это была как бы своего рода искренность. Мы с ним очень сошлись, Мы проводили с ним утра у бельевщиков, сапожников, портных; особое внимание он обращал на обувь, говоря, что по ней можно так же безошибочно, и притом незаметно, узнать человека, как по платью и по чертам лица... Он научил меня тратить деньги, не ведая им счета и не беспокоясь заранее о том, хватит ли у меня, на что удовлетворить свою прихоть, желание или голод. Он провозглашал, как правило, что голод надо всегда утолять последним, ибо (я запомнил его слова) желание и прихоть — побуждения мимолетные, а голод не уйдет, и чем он дольше ждет, тем он повелительнее. Наконец, он научил меня не дорожить наслаждением потому только, что оно обошлось дорого, и не пренебрегать им, если оно

случайно ничего не стоит.

В это самое время умерла моя мать. Меня внезапно вызвали телеграммой в Бухарест; я уже не застал ее в живых; тут я узнал, что после отъезда маркиза она наделала много долгов, на уплату которых только-только хватит ее имущества, так что мне не придется получить ни копейки, ни пфеннига, ни грошена. Тотчас же после похорон я вернулся в Париж, где думал застать дядю де Жевра; но он неожиданно уехал в Россию, не оставив адреса.

Я не стану вам рассказывать всего того, что я передумал. Разумеется, у меня было в котомке многое такое, при помощи чего всегда можно выпутаться; но чем необходимее это могло оказаться, тем противнее мне было бы к этому прибегнуть. К счастью, слоняясь как-то ночью по улицам, в довольно беспомощном положении, я встретил Каролу Венитекуа, которую вы видели, ex-возлюбленную Протоса, и она меня приютила. Несколько дней спустя я получил извещение, что каждое первое число мне будет выплачиваться у нотариуса, довольно таинственным образом, небольшая пенсия; я терпеть не могу что бы то ни было выяснять и стал брать деньги, ни о чем не спрашивая. Затем явились вы... Теперь вы знаете более или менее все, что я имел в виду вам сообщить.

— Это счастье, — торжественно произнес Жюлиус, — это счастье, Лафкадио, что теперь у вас будет немного денег: без профессии, без образования, вынужденный жить чем придется... таким, как я вас теперь узнал, вы были готовы ко всему.

— Напротив, ни к чему не готов, — возразил Лафкадио, серьезно глядя на Жюлиуса. — Несмотря на все то, что я вам рассказал, я вижу, вы меня еще плохо знаете. Ничто меня так не стесняет, как потребности; я всегда искал только того, что для меня бесполезно.

— Например, парадоксы. И вы находите, что это питательно?

— Это зависит от желудка. Вы называете парадоксами все то, чего сами не перевариваете... Я так с голоду бы умер перед этим рагу из логики, которым вы кормите ваших героев.

— Позвольте...

— Во всяком случае, героя последней вашей книги. Правда, что в ней вы изобразили вашего отца? Желание всегда и всюду представить его согласным с вами и с самим собой, верным своему долгу, своим принципам, то есть вашим теориям... судите сами, что могу я, именно я, сказать об этом!.. Мсье де Баральюль, примиритесь с тем, что есть на самом деле: я человек непоследовательный. Вы сами видите, чего только я ни наговорил! Я, который не далее, как вчера, считал себя самым молчаливым, самым замкнутым, самым нелюдимым из людей.

Но это хорошо, что мы так быстро познакомились и что к этому можно уже не возвращаться. Завтра, сегодня вечером, я опять замкнусь в себя.

Романист, которого эти речи выбивали из седла, попытался снова поймать стремяна.

— Прежде всего знайте, что непоследовательности не существует в психологии, как и в физике, — начал он. — Ваша личность еще не сложилась и...

Его прервал стук в дверь. Но, так как никто не показывался, Жюлиус вышел сам. В открытую дверь до Лафкадио доносились неясные голоса. Затем наступила глубокая тишина. Прождав десять минут, Лафкадио собирался уже уходить, но тут к нему вошел ливрейный лакей.

— Граф просит передать господину секретарю, что он его больше не задерживает. Граф сейчас получил тревожные вести о своем отце и извиняется, что не может попрощаться.

По голосу, которым это было сказано, Лафкадио догадался, что получено известие о смерти старого графа. Он поборол свое волнение.

«Да, — говорил он себе, возвращаясь в тупик Клод-Бернар, час настал. It is time to launch the ship.^[7] Откуда бы ни подул ветер, он будет попутным. Раз я не могу быть возле старика, удалимся от него, насколько можно».

Входя в отель, он вручил швейцару коробочку, которую носил при себе со вчерашнего дня.

— Вы передадите этот пакет мадмуазель Венитекуа сегодня вечером, когда она вернется. И приготовьте, пожалуйста, счет.

Час спустя, уложив вещи, он послал за извозчиком. Он уехал, не оставив адреса. Адреса его нотариуса было достаточно.

Графиня Ги де Сен-При, младшая сестра Жюлиуса, спешно вызванная в Париж в виду кончины графа Жюста-Аженора, едва успела вернуться в приветливый замок Пзак, в четырех километрах от По, где после смерти мужа, особенно же после женитьбы своих детей, она жила почти безвыездно, — как к ней явился странный посетитель.

Она возвращалась со своей обычной утренней прогулки в легком догкаре, которым сама привила; ей сказали, что в гостиной ее уже около часа ждет какой-то капуцин. Незнакомец ссылался на кардинала Андре, что удостоверялось поданной графине, в запечатанном конверте, карточкой; на ней, ниже имени кардинала, его тонкой, почти женской рукой было приписано:

«Рекомендует совершенно особому вниманию графини де Сен-При аббата Ж.-П. Салюса, вирмонтальского каноника».

И только; и этого было достаточно; графиня всегда бывала рада духовным лицам; к тому же, кардинал Андре имел над графининой душой неограниченную власть. Она бросилась в гостиную, прося гостя извинить ее за то, что она заставила его ждать.

Вирмонтальский каноник был красивый мужчина; его благородное лицо дышало мужественной энергией, с которой плохо мирилась (если так позволено выразиться) осторожная сдержанность его движений и голоса, подобно тому как странными казались его почти седые волосы при юном и свежем цвете лица.

Несмотря на приветливость хозяйки, разговор не клеился и не выходил из общих фраз о понесенной графиней утрате, о здоровье кардинала Андре, о новой неудаче Жюлиуса на академических выборах. Между тем голос аббата становился все более медленным и глухим, а лицо его все более скорбным. Наконец, он встал, но вместо того, чтобы откланяться:

— Мне бы хотелось, графиня, от имени кардинала, поговорить с вами по важному делу. Но эта комната такая гулкая; меня пугает число дверей; я боюсь, что нас могут услышать.

Графиня обожала всякие секреты и сложности; она увела каноника в маленький будуар, сообщавшийся только с гостиной, заперла дверь:

— Здесь мы в безопасности, — сказала она. — Можете говорить свободно.

Но вместо того, чтобы заговорить, аббат, усевшись против графини на пуф, вынул из кармана большой платок и судорожно в него разрыдался. Графиня, смутясь, поднесла руку к стоявшей возле нее на столике рабочей корзинке, достала оттуда пузырек с солями, хотела было предложить его гостю, но в конце концов принялась нюхать сама.

— Извините меня, — сказал, наконец, аббат, отнимая платок от покрасневшегося лица. — Я знаю, графиня, вы хорошая католичка и легко поймете и разделите мое волнение.

Графиня терпеть не могла излишней; она оградила свою сдержанность лорнетом. Аббат тотчас же оправился и, пододвинув пуф:

— Для того, чтобы решиться приехать поговорить с вами, графиня, мне потребовалось торжественное ручательство кардинала; да, его ручательство в том, что ваша вера — не из тех светских вер, простых личин равнодушия...

— Ближе к делу, господин аббат.

— Итак, кардинал меня уверил, что я могу вполне положиться на ваше молчание; молчание духовника, если я смею так выразиться...

— Но простите, господин аббат; если речь идет о каком-нибудь секрете, известном кардиналу, о секрете такой важности, то почему же он не сообщил мне об этом сам?

Уже по одной улыбке аббата графиня могла бы понять всю нелепость своего вопроса.

— Письмо! Но, сударыня, в наши дни все кардинальские письма на почте вскрывают.

— Он мог передать это письмо через вас.

— Да, сударыня; но кто знает, что может случиться с листком бумаги? За нами так следят! Скажу вам больше, кардинал предпочитает даже не знать того, что я собираюсь вам сказать, он хочет быть здесь совершенно не при чем...

Ах, сударыня, в последнюю минуту я теряю мужество и не знаю, смогу ли...

— Господин аббат, вы меня не знаете, и поэтому я не в праве считать себя оскорбленной тем, что вы мне оказываете так мало доверия, — тихо произнесла графиня, глядя в сторону и роняя лорнет. — Я свято храню те тайны, которые мне поверяют. Бог свидетель, выдала ли я когда-нибудь хотя бы малейшую из них. Но я никогда не запрашивалась на откровенность...

Она сделала легкое движение, как бы собираясь встать; аббат протянул к ней руку.

— Сударыня, вы меня извините, если соблаговолите принять во внимание, что вы — первая женщина, первая, говорю я, которую сочли достойной, — те, кто возложил на меня ужасную обязанность вас осведомить, — достойной узнать и хранить эту тайну. И мне страшно, я признаюсь, когда я думаю о том, насколько эта тайна тяжка, насколько она обременительна для женского ума.

— Часто очень ошибаются, недооценивая женский ум, — почти сухо отвечала графиня и, слегка приподняв руки, скрыла свое любопытство под рассеянным, покорным и немного экстатическим выражением лица, казавшимся ей наиболее подходящим для того, чтобы выслушать важное признание церкви. Аббат снова пододвинул пуф.

Но тайна, которую аббат Салюс готовился поведать графине, представляется мне еще и сейчас настолько удивительной, настолько необычайной, что я не решаюсь передать ее здесь без некоторых предварительных замечаний.

Одно дело роман, другое дело — история. Некоторые тонкие критики определяли роман как историю, которая могла бы быть, а историю как роман, который имел место в действительности. В самом деле, приходится признать, что искусство романиста нередко заставляет нас верить, тогда как иному событию мы верить отказываемся. Увы, бывают скептические умы, которые отрицают все то, что хоть сколько-нибудь необычно. Я пишу не для них.

Мог ли быть наместник божий на земле удален со святейшего престола и, стараниями Квиринала, как бы украден у всего христианского мира, — это очень щекотливый вопрос, поднимать который я не решаюсь. Но исторически несомненно, что в конце 1893 года такой слух распространился; известно, что это смутило немало благочестивых душ. Некоторые газеты робко заговорили об этом; их заставили замолчать. В Сен-Мало появилась на эту тему брошюра;^[8] ее изъяли из обращения. Дело в том, что как масонская партия не желала допускать толков о столь гнусном обмане, так и католическая партия не решалась ни поддерживать, ни прикрывать те чрезвычайные денежные сборы, которые в связи с этим немедленно начались. По-видимому, немало набожных душ потрянуло мощной (собранные, или же израсходованные, по этому случаю суммы исчисляются без малого в полмиллиона), но оставалось сомнительным, были ли все те, к кому поступали пожертвования, действительно верующие люди и не было ли среди них также и мошенников. Во всяком случае, для того, чтобы успешно производить эти сборы, требовались если не религиозные убеждения, то такая смелость, ловкость, такт, красноречие, знание людей и обстановки и такое здоровье, какими могли похвалиться лишь немногие молодцы, вроде Протоса, школьного товарища Лафкадио. Я честно предупреждаю читателя: это его мы видим во образе и под заимствованным именем вирмонтальского каноника.

Графиня, решив не раскрывать рта и не менять ни позы, ни даже выражения лица впредь до полного исчерпания тайны, невозмутимо внимала мнимому священнику, чья уверенность

постепенно возрастала. Он встал и принялся расхаживать взад и вперед. Для большей ясности он решил начать если не с изложения всей истории дела (ведь коренной конфликт между Ложей и Церковью существовал всегда), то во всяком случае с напоминания о некоторых фактах, уже свидетельствовавших об открытой вражде. Прежде всего он пригласил графиню вспомнить два письма, обращенных папою в декабре 1892 года, одно — к итальянскому народу, другое — преимущественно к епископам, в которых тот предостерегал католиков против деяний франк-масонов; затем, так как графине память изменяла, он вынужден был еще более углубиться в прошлое, напомнить о сооружении памятника Джордано Бруно, по мысли и под руководством Криспи, за которым до тех пор скрывалась Ложа. Он говорил о той злобе, которую Криспи затаил против папы, когда тот отклонил его предложения и отказался вступить с ним в переговоры (а под «вступить в переговоры» не разумелось ли «подчиниться»!). Он изобразил этот трагический день: как оба стана расположились друг против друга; как франк-масоны скинули, наконец, личину, и в то время как дипломатические представители при святейшем престоле съезжались в Ватикан, выражая этим и свое пренебрежение к Криспи, и свое уважение уязвленному первосвященнику, как Ложа, с развернутыми знаменами, на Кампо деи Фиори, где высилось дерзостное изваяние, приветствовала криками прославленного богохульника.

— В состоявшемся вслед затем заседании консистории, 30 июня 1889 года, — продолжал он (по-прежнему стоя, он теперь опирался обеими руками о столик и наклонялся к графине), Лев XIII дал исход своему бурному негодованию. Его протест был услышан по всей земле; и христианский мир дрогнул, услышав, что папа грозит покинуть Рим!.. Да, покинуть Рим!.. Все это графиня, вам известно, вы это пережили и помните не хуже, чем я.

Он снова зашагал:

— Наконец, Криспи пал. Казалось, церковь вздохнет свободно. И вот в декабре 1892 года папа написал эти два письма, сударыня...

Он снова сел, резким движением пододвинул кресло к дивану и, хватая графиню за руку:

— Месяц спустя папа был в тюрьме.

Так как графиня упорствовала в своем молчании, каноник опустил ее руку и продолжал уже более спокойным голосом:

— Я не буду стараться, сударыня, разжалобить вас страданиями узника; женское сердце легко трогается зрелищем несчастий. Я обращаюсь к вашему разуму, графиня, и приглашаю вас подумать о том, в какое смятение ввергло нас, христиан, исчезновение нашего духовного главы.

На бледное чело графини легла легкая складка.

— Лишиться папы — ужасно, сударыня. Но это что: лже-папа — еще ужаснее. Ибо, чтобы скрыть свое злодеяние, мало того, чтобы принудить церковь разоружиться и сдаться добровольно, Ложа водворила на папском престоле, вместо Льва XIII, какого-то клеветы Квиринала, какую-то куклу, похожую на их святую жертву, какого-то самозванца, которому из страха повредить истинному папе, мы должны притворно подчиняться, перед которым, о позор! в дни юбилея склонился весь христианский мир.

При этих словах платок, который он крутил в руках, разорвался.

— Первым актом лже-папы явилась эта пресловутая энциклика, энциклика Франции, от которой сердце всякого француза, достойного носить это имя, доньне обливается кровью. Да, да, я знаю, сударыня, что испытало ваше благородное сердце, сердце графини, слыша, как святая церковь отрекается от святого дела монархии; как Ватикан, говорю я, рукоплещет республике. Увы, сударыня, успокойтесь; ваше изумление было законно. Успокойтесь, графиня, но подумайте о том, что должен был пережить святой отец, слыша из темницы, как этот самозванный клевет обьявляет его республиканцем!

И, откидываясь назад, с рыдающим смехом:

— А как вы отнеслись, графиня де Сен-При, а как вы отнеслись к тому, что послужило завершением этой жестокой энциклики, — к аудиенции, данной нашим святым отцом редактору «Пти Журналь»? Да, графиня, редактору «Пти Журналь»! Лев XIII и «Пти Журналь»! Вы же чувствуете, что это невозможно. Ваше благородное сердце само вам подсказало, что это ложь!

— Но, — воскликнула графиня, не в силах больше выдержать, — ведь об этом надо кричать всему миру!

— Нет, сударыня! об этом надо молчать! — грозно прогремел аббат. — Об этом прежде всего надо молчать; об этом мы должны молчать, чтобы действовать. Затем, извиняясь, со слезами в голосе:

— Вы видите, я с вами говорю, как с мужчиной.

— Вы правы, господин аббат. Вы говорите — действовать. Скорее: что же вы решили?

— О, я знал, что встречу в вас это благородное, мужественное нетерпение, достойное крови Баральюлей! Но в данном случае ничто так не опасно, увы, как излишнее рвение. Если немногие избранные сейчас осведомлены об этих ужасных злодеяниях, то мы должны, сударыня, рассчитывать на их ненарушимое молчание, на их полнейшее и безраздельное подчинение тем указаниям, которые им будут преподаны в нужное время. Действовать без нас — это значит действовать против нас. И, не говоря уже о церковном осуждении, могущем повлечь за собой... за этим дело не станет: отлучение, — всякая личная инициатива натолкнется на категорическое и формальное отрицание со стороны нашей партии. Здесь, сударыня, крестовый поход; да, но крестовый поход тайный. Простите, что я к этому возвращаюсь, но предупредить вас об этом мне особо поручено кардиналом, который ничего не желает знать обо всей этой истории и даже не поймет, если нам придется еще раз встретиться, мы с вами уславливается, что никогда не разговаривали друг с другом. Наш святой отец вскоре и сам воздаст своим истинным слугам.

Слегка разочарованная, графиня заметила робко:

— Но в таком случае?

— Дело делается, графиня; дело делается, на бойтесь. И я даже уполномочен частично открыть вам наш план кампании.

Он устроился поудобнее в кресле, прямо против графини; а та, поднеся руки к лицу, сидела, склоняясь вперед, опершись локтями о колени и зажав подбородок ладонями.

Он начал рассказывать о том, что папа заточен не в Ватикане, а, по-видимому: в замке Святого Ангела, который, как, должно быть, графине известно, сообщается в Ватиканом подземным ходом; что было бы, вероятно, не так уж трудно освободить его из этой тюрьмы, если бы не почти суеверный страх, который все служители питают к франк-масонам, хотя сердцем они и с церковью. На это-то Ложа и рассчитывает; пример заточенного папы держит души в трепете. Никто из служителей не соглашается помочь, пока ему не будет обеспечена возможность уехать в далекие страны и жить там, не боясь преследований. Благочестивые лица, на которых вполне можно положиться, отпустили на этот предмет крупные суммы. Остается устранить еще только одно препятствие, но преодолеть его труднее, чем все другие, вместе взятые. Ибо этим препятствием является один принц, главный тюремщик Льва XIII.

— Вы помните, графиня, какой таинственностью осталась окружена совместная смерть эрцгерцога Рудольфа, наследного принца Астро-Венгрии, племянницы княгини Грациоли? Говорили — самоубийство! Пистолет служил только для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение: на самом деле оба они были отравлены. Безумно влюбленный, увы, в Марию Ветчера, кузен эрцгерцога, ее мужа, тоже эрцгерцог, не вынес того, что она стала принадлежать другому... После этого ужасного преступления Иоанн-Сальватор Лотарингский, сын Марии-Антуанетты, великой герцогини Тосканской, покинул двор своего родственника,

императора Франца-Иосифа. Зная, что в Вене он разоблачен, он явился с повинной к папе, умолял его и смягчил. Он получил прощение. Но под видом покаяния Монако — кардинал Монако-Ла-Валетт — запер его в замок святого Ангела, где он томится вот уже три года.

Каноник изложил все это, почти не повышая голоса, он помолчал, затем, слегка топнув ногой:

— Это его Монако назначил главным тюремщиком Льва XIII.

— Как? Кардинал! — воскликнула графиня. — Разве кардинал может быть франк-масоном?

— Увы, — задумчиво отвечал каноник, — Ложа сильно въелась в церковь. Вы поймете, что, если бы церковь сама могла лучше защищаться, ничего бы этого не случилось. Ложе удалось завладеть особой нашего святого отца только при участии некоторых весьма высокопоставленных сообщников.

— Но это же ужасно!

— Что я вам могу сказать другого, графиня! Иоанн-Сальватор думал, что он в плену у церкви, а он был в плену у франк-масонов. Теперь он согласен содействовать освобождению нашего святого отца, только если ему помогут в то же время бежать самому; бежать он может только очень далеко, в такую страну, откуда не может быть выдачи. Он требует двести тысяч франков.

При этих словах Валентина де Сен-При, которая начала уже отодвигаться, опустив руки, вдруг закинула голову, издала слабый стон и лишилась чувств. Каноник бросился к ней:

— Успокойтесь, графиня, — он похлопал ее по ладоням, — Что вы! — он поднес ей к ноздрям пузырек с солями: — из этих двухсот тысяч франков у нас уже есть сто сорок, — и, видя, что графиня приоткрыла один глаз: — Герцогиня де Лектур дала только пятьдесят; остается внести шестьдесят.

— Вы их получите, — едва слышно прошептала графиня.

— Графиня, церковь в вас не сомневалась.

Он встал, строго, почти торжественно; потом помолчал.

— Графиня де Сен-При, — на ваше великодушное слово я полагаюсь вполне; но подумайте о том, какими невероятными трудностями будет сопровождена, затруднена, быть может преграждена передача этой суммы, говорю я, о вручении которой мне вы сами должны будете забыть, получение которой я сам должен быть готов отрицать, в которой я даже не в праве буду выдать вам расписку... Осторожности ради, я могу получить ее от вас только из рук в руки, из ваших рук в мои. За нами следят. Мое присутствие в замке может подать повод к разговорам. Разве мы можем быть уверены в прислуге? Подумайте о кандидатуре графа Баральюля! Возвращаться сюда мне нельзя.

И так как, произнося эти слова, он остался стоять среди комнаты, не двигаясь и не раскрывая рта, графиня поняла:

— Но, господин аббат, вы же сами понимаете, что у меня нет при себе такой огромной суммы. И я даже...

Аббат выражал нетерпение; поэтому она не решилась добавить, что ей, вероятно, потребовалось бы некоторое время, чтобы ее собрать (ибо она надеялась, что ей не придется платить все самой). Она прошептала:

— Как же быть?

И так как брови каноника становились все грознее:

— Правда, у меня здесь есть кое-какие драгоценности...

— Полноте, сударыня! Драгоценности, это — воспоминания. Вы себе представляете меня в роли старьевщика? И осторожно было бы, по-вашему, если бы я старался выручить за них

возможно больше? Я рисковал бы скомпрометировать и вас лично, и все наше дело.

Его строгий голос мало-по-малу становился суровым и резким. Голос графини слегка дрожал.

— Подождите, господин каноник: я посмотрю, что у меня найдется.

Немного погодя, она вернулась. Ее рука сжимала голубые ассигнации.

— К счастью, я недавно получила арендную плату. Я могу вам передать теперь же шесть с половиною тысяч франков.

Каноник пожал плечами:

— На что они мне?

— И, с грустным пренебрежением, он благородным жестом отстранил от себя графиню:

— Нет, сударыня, нет! Этих денег я не возьму. Я возьму их только вместе с остальными.

Цельные люди не размениваются. Когда вы можете вручить мне всю сумму?

— Сколько вы мне даете времени?... Неделю?.. — спросила графиня, имея в виду произвести сбор.

— Как! На вашу долю выпала несравненная честь держать в своих руках его избавление, и вы медлите! Берегитесь, сударыня, берегитесь, как бы создатель в день вашего избавления не заставил также ждать и томиться вашу слабую душу у порога рая!

Он становился грозен, ужасен; потом вдруг поднес к губам распятие своих четок и погрузился в короткую молитву.

— Но ведь я же должна написать в Париж! — в отчаянии простонала графиня.

— Телеграфируйте! Пусть ваш банкир переведет эти шестьдесят тысяч франков Поземельному кредиту в Париже, а тот телеграфирует Поземельному кредиту в По, чтобы вам немедленно выплатили деньги. Это детская игра.

— У меня в По лежат деньги, — нерешительно заметила она.

— В банке?

— Как раз в Поземельном кредите.

Тот уже совсем возмутился.

— Ах, сударыня, почему вам было не сказать мне этого прямо? Так вот каково ваше рвение! А что, если бы я теперь отверг вашу помощь?..

Затем, шагая по комнате, заложив руки за спину и как бы заранее предубежденный против всего, что он может услышать:

— Здесь больше, чем нерадивость, — и он тихонько причмокивал, как бы выражая этим отвращение, — здесь почти двоедушие.

— Господин аббат, умоляю вас...

Аббат продолжал шагать, нахмутив лоб, неумолимый. Наконец:

— Вы знакомы, я знаю, с аббатом Буденом, у которого я как раз сегодня завтракаю, — он вынул часы, — и к которому уже опаздываю. Выпишите чек на его имя: он получит для меня эти шестьдесят тысяч и сразу же мне их передаст. Когда вы его увидите, скажите ему просто, что это было для «искупительной часовни»; это человек деликатный, корректный, и он ни о чем не будет спрашивать. Ну-с, чего вы еще ждете?

Графиня, простертая на диване, встала, изнеможенно подошла к письменному столу, раскрыла его, достала продолговатую, оливкового цвета книжку и покрыла один из листков своим длинным почерком.

— Простите, если я был немного резок с вами, графиня, — произнес аббат смягченным голосом, беря протягиваемый ему чек. — Но здесь замешаны такие интересы!

Затем, опуская чек во внутренний карман:

— Было бы нечестиво вас благодарить, не правда ли; даже именем того, в чьих руках я

лишь недостойное орудие.

У него вырвалось рыдание, которое он заглушил платком; но сразу же овладев собой и упрямо топнув ногой, он быстро пробормотал какую-то фразу на иностранном языке.

— Вы итальянец? — спросила графиня.

— Испанец! Моя искренность меня выдает.

— Но не ваш акцент. Право же, вы говорите по-французски так, что нельзя...

— Вы слишком любезны. Графиня, извините, что я вас покидаю так поспешно. Благодаря нашей комбинации я могу сегодня же вечером поспеть в Нарбонну, где архиепископ ждет меня с большим нетерпением. Прощайте!

Он взял графиню за обе руки и пристально посмотрел ей в глаза, слегка откинувшись назад:

— Прощайте, графиня де Сен-При.

Затем, приложив палец к губам:

— И помните, что одно ваше слово может все погубить.

Едва он вышел, графиня бросилась к звонку.

— Амели, велите Пьеру подать коляску сразу после завтрака, чтобы ухать в город. Да, постойте... Пусть Жермен сядет на велосипед и немедленно отвезет мадам Флериссуар письмо, которое я вам дам сейчас.

И, склонясь над письменным столиком, который оставался раскрытым, она написала:

«Моя дорогая!

Я сегодня к вам заеду. Ждите меня около двух. У меня к вам очень серьезное дело. Устройте так, чтобы мы были одни».

Она подписалась, запечатала конверт и вручила его Амели.

Мадам Амеде Флериссуар, рожденная Петра, младшая сестра Вероники Арман-Дюбуа и Маргариты де Баральюль, носила странное имя — Арника. Филибер Петра, ботаник, довольно известный во времена второй империи своими супружескими несчастьями, еще в юности своей обещал детям, которые у него могут родиться, имена цветов. Имя Вероники, которым он окрестил первого ребенка, показалось кое-кому из его друзей несколько причудливым; но когда при имени Маргарита ему привелось слышать, будто он сдает, уступает обычаем, впадает в банальность, он заупрямился и решил наградить третий свой плод столь явно ботаническим именем, что оно заткнет рты всем злословцам.

Вскоре после рождения Арники Филибер, характер которого успел испортиться, расстался с женой, покинул столицу и поселился в По. Его супруга проводила зиму в Париже, но с началом ясных дней возвращалась в Тарб, свой родной город, куда к ней приезжали, в старый семейный дом, ее старшие дочери.

Вероника и Маргарита полгода проводили в Тарбе, полгода в По. А маленькая Арника, в загоне у сестер и у матери, простоватая, правда, и скорее трогательная, чем хорошенькая, та зиму и лето жила с отцом.

Самой большой радостью для девочки было ходить за город собирать растения; но нередко маньяк-отец, в припадке угрюмости, приказывал ей сидеть дома, отправлялся один на огромную прогулку, возвращался, не чувствуя под собою ног, и сразу же после ужина заваливался спать, не подарив дочери ни улыбки, ни слова. Когда на него находило поэтическое настроение, он играл на флейте, повторяя без конца одни и те же арии. Остальное время он тщательно выводил портреты цветов.

Старая служанка, прозванная Резедой и занимавшаяся кухней и хозяйством, смотрела за девочкой; она научила ее тому немногому, что знала сама. При таком порядке воспитания Арника в десять лет едва умела читать. Наконец, в Филибере заговорило уважение к человеку: Арнику отдали в пансион к вдове Семен, преподававшей начатки знаний дюжине девочек и несколькими маленькими мальчиками.

Арника Петра, доверчивая и беззащитная, никогда до того не подозревала, что ее имя может быть смешным.^[9] В день поступления в пансион она вдруг поняла его комичность; поток насмешек согнул ее, как тихую водоросль; она покраснела, побледнела, расплакалась; а мадам Семен, наказав весь класс за неприличное поведение, добилась лишь того, что незлобивый по началу взрыв веселья тотчас же окрасился недоброжелательством.

Долговязая, вялая, анемичная, растерянная, Арника стояла, свесив руки, посреди маленького класса, и когда мадам Семен указала:

— На третьей скамье слева, мадмуазель Петра, — класс разразился еще пуще, невзирая ни на какие увещания.

Бедная Арника! Жизнь казалась ей теперь унылой дорогой, обсаженной прибаутками и обидами. К счастью, мадам Семен приняла к сердцу ее невзгоды, и вскоре девочка нашла приют под вдовьим крылом.

Арника охотно оставалась в пансионе после уроков, потому что отца могло и не оказаться дома; у мадам Семен была дочь, на семь лет старше Арники, немного горбатая, но приветливая; в надежде подцепить ей мужа, мадам Семен принимала вечером по воскресеньям и даже устаивала два раза в год маленькие воскресные *matinees*, с декламацией и танцами; у нее бывали, из чувства признательности, некоторые прежние ее воспитанницы, в сопровождении родителей, и, от нечего делать, несколько юношей, без средств и будущего. Арника

присутствовала на всех этих собраниях; неяркий цветок, скромный до безличия, но которому все же не пришлось остаться незамеченным.

Когда, четырнадцати лет, Арника лишилась отца, мадам Семен взяла сироту к себе; ее сестры, которые были значительно старше, чем она, навещали ее редко. Но именно в одну из этих коротких побывок Маргарита впервые встретила с тем, кто два года спустя должен был стать ее мужем: с Жюлиусом де Баральюлем, которому в ту пору было двадцать восемь лет и который проводил лето у своего деда, Робера де Баральюля, поселившегося, как мы уже говорили, в окрестностях По вскоре после присоединения герцогства Пармского к Франции.

Блестящее замужество Маргариты (впрочем, эти барышни Петра были не без средств) делало для ослепленных взоров Арники ее сестру еще более далекой; она знала, что никогда никакой граф, никакой Жюлиус не склонится над ней, вдыхая ее аромат. И еще она завидовала сестре в том, что та отделалась от этого противного имени Петра. «Маргарита» — прелестное имя. Как оно хорошо звучит рядом с «де Баральюль»! Увы, с каким мужним именем не останется смешным имя Арники!

Сторонясь действительности, ее нераспустившаяся и больно задетая душа тянулась к поэзии. В шестнадцать лет она носила падающие локоны, так называемые «repentirs», окаймлявшие ее бледное лицо, и ее мечтательные голубые глаза удивлялись рядом с черными волосами. Ее незвонкий голос не был сух; она читала стихи и сама упражнялась в стихотворстве. Она считала поэтическим все то, что уводило ее от жизни.

На вечерах у мадам Семен бывало двое молодых людей, которых нежная дружба как бы объединяла с детства; один сутулый, хоть и невысокий, не столько тощий, сколько поджарый, с волосами скорее выцветшими, нежели светлыми, с гордым носом, с робким взглядом; это был Амедей Флериссуар. Другой, полный и приземистый, с жесткими, низко растущими черными волосами, держал, в силу странной привычки, голову вечно склоненной к левому плечу, рот открытым и правую руку протянутой вперед: я описал Гастона Блафафаса. Отец Амедея был мраморных дел мастер, изготавливал надгробные памятники и торговал похоронными венками; Гастон был сын видного аптекаря.

(Это может показаться странным, но имя Blafarphas очень распространено в деревнях по отрогам Пиринеев, хоть оно и пишется по-разному. Так, в одном только местечке Ста..., где ему пришлось присутствовать на экзамене, пишущий эти строки встретил нотариуса Blapharphas, парикмахера Blafafaz, мясника Wlphafase, которые, будучи спрошены, отрицали какую бы то ни было общность своего происхождения, причем каждый из них относился с известным презрением к именам остальных двух и к их неизящному начертанию. — Но эти филологические замечания могут интересовать лишь довольно ограниченный круг читателей.)

Чем были бы Флериссуар и Блафафас друг без друга? Это трудно себе представить. В лицее, на переменах, их всегда можно было видеть вместе; вечно изводимые, они утешали друг друга, внушали друг другу терпение, стойкость. Их называли «Блафафуарами». Их дружба казалась им единственным ковчегом, оазисом в безжалостной пустыне жизни. Стоило одному из них испытать какую-либо радость, как он немедленно стремился ею поделиться; или, вернее, для каждого из них только то было радостью, что он переживал вместе с другим.

Учась посредственно, несмотря на свое обезоруживающее усердие, и упорно не поддаваясь какой бы то ни было культуре, Блафафуары вечно были бы последними в классе, если бы не содействие Эдокса Левишона, который за небольшие одолжения исправлял их работы и даже сам писал за них. Этот Левишон был младший сын одного из крупнейших в городе ювелиров. (Двадцать лет тому назад, вскоре после женитьбы на единственной дочери ювелира Коэна, — когда в виду цветущего положения дел он покинул нижний квартал и обосновался недалеко от казино, — ювелир Альбер Леви счел желательным соединить и слить оба имени, Levy-Cohen —

Levichon, подобно тому, как он соединял обе фирмы.)

Блафафас был вынослив, но Флериссуар — сложения хрупкого. С приближением возмужалости облик Гастона затенился, и казалось, растительная сила все его тело покрывает волосами; между тем как более чувствительная кожа Амедея сопротивлялась, воспалялась, прыщевела, словно волос прорастал с трудом. Блафафас-отец советовал очищать кровь, и каждый понедельник Гастон приносил с собой в портфеле склянку противоцинготного сиропа и тайком передавал ее приятелю. Они прибегали также и к мазям.

В это самое время Амедей схватил первую простуду, — простуду, которая, несмотря на благодатный климат По, продержалась всю зиму и оставила после себя неприятную чувствительность бронхов. Для Гастона это явилось поводом для новых забот; он пичкал своего друга лакрицей, грудными ягодами, исландским мохом и эвкалиптовыми леденцами от кашля, которые Блафафас-отец изготовлял сам по рецепту одного старого кюре. Легко подверженный катарам, Амедей должен был постоянно носить на воздухе фуляр.

Амедей ни о чем ином не помышлял, как о том, чтобы пойти по стопам отца, Гастон же, хоть на вид и беспечный, не был лишен инициативы; еще в лицее он занимался разными мелкими изобретениями, правда, скорее забавного свойства: мухоловка, весы для шариков, секретный замок для парты, в которой, впрочем, хранилось не больше тайн, чем в его сердце. Сколь ни были невинны его первые технические опыты, они все же привели его к более серьезным изысканиям, которыми он занялся впоследствии и первым результатом которых явилось изобретение «гигиенической бездымной трубки для слабогрудых и прочих курильщиков», долгое время украшавшей витрину аптеки.

Амедей Флериссуар и Гастон Блафафас оба влюбились в Арника; так было predetermined. И что удивительно, так это то, что эта зарождающаяся страсть, в которой они тотчас же признались друг другу, не только их не разлучила, но лишь теснее сблизила. Конечно, Арника, на первых порах не подавала ни тому, ни другому особых поводов к ревности. Да ни один из них и не делал ей признания; и Арника ни за что бы не догадалась об их чувстве, несмотря на то, что голос их дрожал, когда на воскресных вечеринках у мадам Семен, где они были привычные гости, она их угощала сиропом, вервеной или ромашкой. И оба, на пути домой, превозносили ее скромность и грацию, тревожились ее бледностью, смелели...

Они решили, что оба они сделают ей признание в один и тот же вечер, а затем положатся на ее выбор. Арника, впервые встретившись с любовью, возблагодарила небо в изумлении и простоте своего сердца. Она попросила обоих воздыхателей дать ей время подумать.

По правде говоря, она ни к тому, ни к другому не чувствовала особой склонности и только потому интересовалась ими, что они интересовались ею, тогда как сама она уже отказалась от надежды кого-либо заинтересовать. Целых шесть недель, все более и более затрудняясь в выборе, она тихо упивалась поклонением своих параллельных искателей. И в то время, как на своих ночных прогулках взаимно расценивая свои успехи, Блафафуары подробно рассказывали друг другу, со всей откровенностью, о малейшем слове, взгляде и улыбке, которыми «она» их наградила, Арника, уединяясь в своей комнате, исписывала листочки бумаги, которые вслед затем старательно сжигала на свечке и неустанно повторяла про себя: «Арника Блафафас?.. Арника Флериссуар?..» — не в силах решить, какое из этих имен менее ужасно.

И вдруг однажды, во время танцев, она выбрала Флериссуара; Амедей назвал ее «Арника», сделав ударение на предпоследнем слоге, так что ее имя прозвучало для нее на итальянский лад (сделал он это, впрочем, бессознательно, вероятно увлеченный роялем мадмуазель Семен, как раз в эту минуту мерно оглашавшим воздух); и это «Арника», ее собственное имя, вдруг показалось ей обогащенным неожиданной музыкой, показалось тоже способным выразить поэзию, любовь... Они сидели вдвоем в маленькой комнате рядом с гостиной, и так близко друг

от друга, что Арника, изнемогая, склонила голову, тяжелую от благодарности; ее лоб коснулся плеча Амедея, и тот, торжественно, взял ее руку и поцеловал ей кончики пальцев.

Когда, возвращаясь домой, Амедей поведал другу о своем счастье, Гастон, вопреки своему обыкновению, ничего не ответил, и, когда они проходили мимо фонаря, Флериссуару показалось, что он плачет. Как ни был Амедей наивен, не мог же он, действительно, предположить, что его друг до такой крайней степени разделяет его счастье. Растерянный, смущенный, он обнял Блафафаса (улица была пустынна) и поклялся ему, что, сколь ни велика его любовь, еще более велика его дружба, что он не хочет, чтобы его женитьба хоть чем-нибудь ее умалила, и что, не желая подавать Блафафасу повода для ревности, он готов ему обещать честным словом никогда не осуществлять своих супружеских прав.

Ни Блафафас, ни Флериссуар не обладали сколько-нибудь пылким темпераментом; все же Гастон, которого его возмужалость смущала немного больше, промолчал и не возражал против обещания Амедея.

Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, погрузившийся, утешения ради, в работу, изобрел «пластический картон». Изобретение это, казавшееся поначалу пустячным, возымело первым своим следствием укрепление ослабевшей было дружбы Левишона с Блафафуарами, Эдокс Левишон тотчас же учел выгоды, которые религиозная скульптура может извлечь из этого нового вещества, каковое он, первым делом, с замечательным предощущением возможностей, назвал «римским картоном».^[10] Фирма Блафафас, Флериссуар и Левишон была основана.

Дело было пущено в ход с объявленным капиталом в шестьдесят тысяч франков, из коих Блафафуары скромно подписали вдвоем десять тысяч. Остальные пятьдесят великодушно вносил Левишон, не желая допускать, чтобы его друзья обременяли себя долгом. Правда, из этих пятидесяти тысяч сорок тысяч, почерпнутые из приданого Арники, были даны займы Флериссуаром, с погашением в течение десяти лет и из 4 1/2 процентов, — что превышает все то, на что Арника могла когда-либо рассчитывать, и оберегало небольшое состояние Амедея от крупного риска, неизбежно связанного с этим предприятием. Взамен того, Блафафуары оказывали делу поддержку своими связями и связями Баральблей, то есть, когда «римский картон» себя зарекомендовал, заручились покровительством ряда влиятельных представителей духовенства; те (не говоря уже о нескольких крупных заказах) убедили множество мелких приходов обратиться к фирме Ф.Б.Л., дабы удовлетворить все растущие религиозные потребности верующих, ибо повышающийся уровень художественного образования требовал более изящных произведений, нежели те, которыми доселе довольствовалась смиренная вера отцов. В связи с этим несколько художников, заслуживших признание церкви и привлеченных к делу «римского картона», дождались, наконец, того, что их произведения были приняты жюри на выставку Салона. Оставив Блафафуаров в По, Левишон основался в Париже, где, благодаря его талантам, предприятие в скором времени весьма расширилось.

Разве не было вполне естественно, что графиня Валентина де Сен-При задумала привлечь, через посредство Арники, фирму Блафафас и К° к тайному делу освобождения папы и что, надеясь возместить часть своих расходов, она полагалась на великое благочестие Флериссуаров? К несчастью, внося при основании фирмы лишь незначительную сумму, Блафафуары получали весьма немного: две двенадцатых из заявленных прибылей и ровно ничего из остальных. А этого графиня не знала, ибо Арника, как и Амедей, были весьма стыдливы в отношении кошелька.

— Дорогая моя! Что случилось? Вы меня так напугали вашим письмом.

Графиня упала в кресло, которое ей пододвинула арника.

— Ах, мадам Флериссуар... знаете, позвольте мне вас называть: дорогой друг... Это горе, которое и вас касается, сближает нас. Ах, если бы вы знали!..

— Говорите, говорите! Не томите меня дольше.

— Но только то, что я узнала сегодня и что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами в полной тайне.

— Я никогда не обманула ничьего доверия, — скорбно сказала Арника, которой еще никто ни разу не доверил ни одной тайны.

— Вы не поверите.

— Поверю, поверю, — стонала Арника.

— Ах! — стонала графиня. — Знаете, не будете ли вы так добры приготовить мне чашку чего-нибудь... я чувствую, что не могу больше.

— Хотите вервены? липового цвета? ромашки?

— Все равно чего... Пожалуй, чаю... Я сначала сама не верила.

— В кухне есть кипяток. Сию минуту будет готово.

И, пока Арника хлопотала, небескорыстный взор графини обследовал гостиную. В ней царил обескураживающая скромность. Стулья зеленого репса, гранатовое бархатное кресло, затем простое штофное кресло, в котором сидела сама графиня; стол и консоль красного дерева; перед камином — ковер из шерстяной синели; на камине — алебастровые часы под стеклянным колпаком, между двух больших ажурных алебастровых ваз. тоже накрытых стеклянными колпаками; на столе — альбом с семейными фотографиями; на консоле — изображение Лурдской богородицы в гроте, из римского картона, уменьшенная модель, — все это расхолаживало графиню, которая чувствовала, что теряет мужество.

Но, может быть, это просто напускная бедность, скупость...

Вернулась Арника, неся на подносе чайник, сахарницу и чашку.

— Я вам причинила столько хлопот!

— Ах, что вы!.. Я просто хотела приготовить сразу, потому что потом я буду не в силах.

— Так вот, — начала Валентина, когда Арника уселась. — Папа...

— Нет! Не говорите мне! Не говорите! — тотчас же воскликнула мадам Флериссуар, пристирая перед собой руку, и со слабым стоном откинулась назад, закрыв глаза.

— Мой бедный друг! Дорогой мой, бедный друг! — говорила графиня, похлопывая ее по руке. — Я так и знала, что этой тайны вам не вынести.

Наконец, Арника открыла один глаз и печально прошептала:

— Он умер?

Тогда Валентина, нагнувшись к ней, шепнула ей на ухо:

— Он заточен в тюрьму.

От изумления мадам Флериссуар пришла в себя, и Валентина начала длинное повествование, спотыкаясь о даты, путаясь в хронологии; но самый факт был налицо достоверный, неоспоримый: наш святой отец — в руках неверных; для его освобождения тайно готовится крестовый поход; и, чтобы он увенчался успехом, прежде всего требуется много денег.

— Что скажет Амедей? — стонала удрученная Арника. — Он отправился на прогулку со своим другом Блафафасом и должен был вернуться только вечером.

— Главное, велите ему свято хранить тайну, — несколько раз повторила Валентина, прощаясь с Арникой. — Поцелуемся, дорогой мой друг; мужайтесь!

Арника смущенно подставила графине влажный лоб.

— Завтра я заеду узнать, что вы считаете возможным сделать. Поговорите с мсье Флериссуаром; но помните, от этого зависит судьба церкви! И потом — уговор: только вашему мужу! Вы мне обещаете: ни слова, не правда ли? Ни слова.

Графиня де Сен-При оставила Арнику в состоянии подавленности, близком к обмороку. Когда Амедей вернулся с прогулки:

— Мой друг, — сразу же обратилась она к нему, — я сейчас узнала нечто чрезвычайно грустное. Бедный святой отец заточен в тюрьму.

— Не может быть! — сказал Амедей таким тоном, как если бы сказал: «Да что ты!»

Тогда Арника, раздражаясь рыданиями:

— Я знала, я знала, что ты мне не поверишь.

— Но послушай, послушай, дорогая моя... — продолжал Амедей, снимая пальто, которое носил почти всегда, потому что опасался резких колебаний температуры. — Посуди сама! Весь мир бы знал, если бы что-нибудь случилось со святым отцом. Об этом писали бы в газетах... И кто бы мог посадить его в тюрьму?

— Валентина говорит, что это — Ложа.

Амедей посмотрел на Арнику и подумал, не сошла ли она с ума. Все же он ответил:

— Ложа!.. Какая Ложа?

— Но откуда же мне знать? Валентина дала слово никому не говорить об этом.

— Да кто ей все это наговорил?

— Она мне запретила рассказывать... Какой-то каноник, который явился от имени какого-то кардинала, с его карточкой...

Арника ничего не понимала в общественных вопросах и все то, что ей рассказала мадам де Сен-При, представляла себе довольно смутно. Слова «плен», «заточение» вызвали перед ее взором мрачные и полуромантические образы; слово «крестовый поход» воодушевляло ее бесконечно, и, когда Амедей, наконец решившись, заговорил об отъезде, она вдруг увидела его в латах и в шлеме, верхом... Он же теперь расхаживал большими шагами по комнате и говорил:

— Прежде всего, денег у нас нет... И потом, неужели ты думаешь, что для меня этого было бы достаточно — дать денег! Ты думаешь, что, лишая себя нескольких бумажек, я бы успокоился?.. Но, дорогой друг, если то, что ты мне говоришь, правда, то ведь это ужасно, и мы не можем сидеть спокойно. Ты понимаешь: это ужасно.

— Да, конечно, ужасно... Но ты мне все-таки объясни, почему, собственно?

— О! Если я еще должен тебе объяснять!.. — и Амедей, с вспотевшими висками, беспомощно вздымал руки.

— Нет, нет! — продолжал он. — Тут нужно жертвовать не деньги: тут нужно жертвовать самим собой. Я поговорю с Блафафасом; посмотрим, что он мне скажет.

— Валентина де Сен-При взяла с меня слово никому об этой не говорить, — робко заметила Арника.

— Блафафас не кто-нибудь; и мы ему велим хранить это про себя, строжайшим образом.

— Но как же ты уедешь так, чтобы об этом никто не знал?

— Будет известно, что я еду, но никто не будет знать — куда. — И, обращаясь к ней, он патетически взмолился: — Арника, дорогая... позволь мне ехать!

Она рыдала. Теперь ей самой была нужна поддержка Блафафаса. Амедей собрался за ним сходить, как вдруг тот явился сам, предварительно постучав, как обычно, в окно гостиной.

— Поистине, ничего больше удивительного я в жизни не слышал! — воскликнул он, когда

ему изложили, в чем дело. — Нет, в самом деле, кто бы мог ожидать чего-нибудь подобного? — И вдруг, прежде чем Флериссуар успел что-либо сообщить о своих намерениях: — Мой друг, нам остается одно: ехать.

— Вот видишь, — воскликнул Амедей, — это первая же его мысль!

— Сам я, к сожалению, не могу ехать из-за здоровья моего бедного отца, — таковой оказалась вторая мысль.

— В конце концов и лучше, чтобы я был один, — продолжал Амедей. — Вдвоем мы бы обращали на себя внимание.

— Да сумеешь ли ты справиться?

Тут Амедей выпрямлял грудь и подымал брови, как бы говоря: «Я сделаю, что могу, ясное дело!»

Блафафас продолжал:

— Как ты узнаешь, к кому обратиться? Куда направиться?.. Что ты, собственно, там будешь делать?

— Прежде всего узнаю. в чем дело.

— Потому что ведь вдруг все это неправда?

— Вот именно, я не желаю оставаться в неизвестности.

Гастон подхватил:

— И я также.

— Мой друг, ты бы еще обдумал, — неуверенно вставила Арника.

— Все обдуманно я еду тайно, но я еду.

— Но когда? У тебя ничего не готово.

— Сегодня же. Много ли мне нужно?

— Но ты же никогда не путешествовал. Ты не сумеешь.

— Это мы увидим, милочка. Я вам расскажу свои приключения, — говорил он с добродушным смешком, от которого у него тряслось адамово яблоко.

— Ты простудишься, это наверное.

— Я надену твой фуляр.

Он перестал расхаживать и приподнял Арнике пальцем подбородок, как ребенку, которого хотят заставить улыбнуться. Гастон держался в стороне. Амедей подошел к нему:

— Я попрошу тебя посмотреть в указателе. Ты мне скажешь, когда есть удобный поезд в Марсель; с третьим классом. Да, да, я поеду в третьем. Словом, составь мне подробное расписание, с обозначением пересадок и буфетов, — до границы; а там дело пойдет: я разберусь, и бог мне укажет дорогу до Рима. Пишите мне туда, до востребования.

Величие его задачи опасно горячило ему голову. Когда Гастон ушел, он продолжал шагать по комнате. Он бормотал:

— И это суждено мне! — полный восхищения и умиленной благодарности: его жизнь, наконец, получала смысл. Ах, сударыня, ради бога, не удерживайте его! На свете так мало людей, которые нашли свою цель.

Единственное, чего Арника добилась, это то, что он согласился провести ночь дома, тем более, что Гастон отметил в указателе, с которым он вернулся вечером, восьмичасовой утренний поезд как наиболее подходящий.

Утром шел сильный дождь. Амедей не согласился на то, чтобы Арника или Гастон провожали его на вокзал. И никто не бросил прощального взгляда комичному пассажиру с рыбьими глазами, закутанному в гранатовый фуляр, несшему в правой руке серый парусиновый чемодан с прибитой к нему визитной карточкой, в левой — старый зонт, а через руку — плед в зеленую и коричневую клетку, и умчавшемуся с марсельским поездом.

Как раз в эту пору граф Жюлиус де Баральюль отправился в Рим на важный социологический съезд. Его, быть может, особенно и не ждали (по общественным вопросам он обладал скорее убеждениями, нежели познаниями), но он был рад случаю завязать сношения с некоторыми выдающимися знаменитостями. А так как Милан лежал сам собой на его пути, — Милан, где, как известно, по совету отца Ансельма поселились Арманы-Дюбуа, то он решил этим воспользоваться и навестить свояка.

В тот самый день, когда Флериссуар покидал По, Жюлиус звонил у двери Антима.

Его ввели в жалкую квартирку из трех комнат, — если можно считать комнатой темный чулан, где Вероника сама варила скудные овощи — обычный их обед. Противный металлический рефлектор тускло отражал свет, падавший из тесного дворика; Жюлиус, со шляпой в руке, которую он не решался положить на овальный стол, накрытый подозрительной клеенкой, и не садясь из отвращения к молескину, схватил Антима за локоть и воскликнул:

— Вы не можете оставаться здесь, мой бедный друг.

— Почему вы меня жалеете? — спросил Антим.

На звук голосов прибежала Вероника.

— Поверите ли, дорогой Жюлиус, он ничего другого не находит сказать на все несправедливости и обманы, жертвой которых вы нас видите!

— Кто вас направил в Милан?

— Отец Ансельм: во всяком случае, мы не могли больше содержать квартиру на виа ин Лучина.

— На что она нам была нужна? — сказал Антим.

— Дело не в этом. Отец Ансельм обещал вам компенсацию. Он знает, как вы бедствуете?

— Он делает вид, что не знает, — сказала Вероника.

— Вы должны жаловаться епископу Тарбскому.

— Антим так и сделал.

— Что он сказал?

— Это прекрасный человек; он горячо поддержал меня в моей вере.

— Но за то время, что вы здесь, вы ни к кому не обращались?

— Я должен был повидаться с кардиналом Пацци, который в свое время отнесся ко мне со вниманием и которому я недавно писал; он был проездом в Милане, но велел мне сказать через лакея...

— Что его подагра, к его сожалению, не позволяет ему видеть Антима, — перебила Вероника.

— Но ведь это же ужасно! Необходимо поставить в известность Рамполлу, — воскликнул Жюлиус.

— В известность о чем, дорогой друг? Разумеется, я не очень богат; но к чему нам больше? В дни благополучия я блуждал во тьме; я грешил; я был болен. Теперь я здоров. В былое время вам легко было меня жалеть. А ведь вы не знаете: мнимые блага отвращают от бога.

— Как-никак, а эти мнимые блага вам причитаются. я допускаю, что церковь может вам внушать презрение к ним, но не допускаю, чтобы она их у вас отнимала.

— Вот это разумные речи, — сказала Вероника. — С каким облегчением я вас слушаю, Жюлиус! Своей покорностью он выводит меня из себя; нет никакой возможности заставить его защищаться; он дал себя оципать, как цыпленка, говоря спасибо всем, кому было не лень тащить и кто тащил во имя божие.

— Вероника, мне тяжело слышать, когда ты так говоришь: все, что делается во имя божие, — благо.

— Если тебе нравится ходить голым.

Как Иов, мой друг.

Тогда Вероника, обращаясь к Жюлиусу:

— Вы слышите? И так вот он каждый день; на языке у него один елей; и, когда я ног под собою не чувствую, сбегав на рынок и управившись с кухней и хозяйством, они изволят приводить евангельские изречения, находят, что я пекусь о многом, и советуют мне посмотреть на полевые лилии.

— Я помогаю тебе, чем могу, мой друг, — продолжал Антим серафическим голосом. — Я тебе много раз предлагал, раз я теперь здоров, ходить вместо тебя на рынок или вести хозяйство.

— Это не мужское дело. Пиши себе свои поучения, да постарайся только, чтобы тебе за них платили немного лучше. — И все более раздраженным голосом (она, когда-то такая улыбчивая!): — Разве это не стыд! когда я думаю, сколько он зарабатывал в «Телеграфе» своими безбожными статьями! А из жалких грошей, которые ему теперь платит «Паломник» за его проповеди, он еще ухитряется отдавать три четверти нищим.

— Так это же действительно святой!.. — воскликнул пораженный Жюлиус.

— Ах, до чего он меня раздражает своей святостью!.. Вот полюбуйте: знаете, что это такое? — и из темного угла комнаты она принесла клетку для кур: — Это те две крысы, которым господин ученый когда-то выколол глаза.

— Увы! Вероника, зачем вы вспоминаете об этом? Вы же их кормили, когда я над ними производил опыты; и я вас за это попрекал тогда... Да, Жюлиус, во времена моих злодейств я, из пустого научного любопытства, ослепил этих бедных животных; теперь я них забочусь; это только естественно.

— Я бы очень хотел, чтобы церковь тоже сочла естественным сделать для вас то, что вы сделали для этих крыс, после того как она вас тоже как-никак ослепила.

— Ослепила, вы сказали? Вы ли так говорите! Озарила, брат мой, озарила.

— Я говорю о стороне материальной. Положение, в котором вас покинули, я считаю недопустимым. По отношению к вам церковь приняла на себя известные обязательства; она должна их выполнить; ради своей чести и ради нашей веры.

Затем, обращаясь к Веронике:

— Если вы ничего не добились, обратитесь выше, еще выше. Что Рамполла! Теперь я самому папе вручу ходатайство; папе, которому ваше дело известно. Такой отказ в правосудии заслуживает того, чтобы он был о нем осведомлен. Завтра же я еду в Рим.

— Вы останетесь с нами пообедать? — робко предложила Вероника.

— Вы меня извините, — у меня желудок не очень крепкий (и Жюлиус, ногти у которого были выхолены, посмотрел на короткие, толстые пальцы Антима, с четырехугольными концами). На обратном пути из Рима я у вас останусь подольше и поговорю с вами, дорогой Антим, о новой книге, которую я готовлю.

— Я на-днях перечел «Воздух Вершин», и мне больше понравилось, чем первый раз.

— Тем хуже для вас! Это книга неудачная; я вам объясню почему, когда вы будете в состоянии меня понять и оценить те странные мысли, которые меня сейчас волнуют. Мне слишком многое надо вам сказать. Пока — я молчу.

Он расстался в Арманами-Дюбуа, пожелав им не терять надежды.

Книга четвертая

ТЫСЯЧЕНОЖКА

*И я могу одобрить только тех,
кто ищет, стелая.*

Паскаль

Амедей Флериссуар выехал из По с пятьюстами франками в кармане, которых ему наверное должно было хватить на всю поездку, даже если бы коварство Ложи, что весьма вероятно, и завлекло его в непроизводительные расходы. А если бы этой суммы оказалось недостаточно, если бы он увидел себя вынужденным прожить на месте более продолжительное время, он всегда мог обратиться к Блафафасу, который держал для него наготове небольшой запас.

Чтобы в По не могли знать, куда он едет, он взял билет только до Марселя. От Марселя до Рима билет третьего класса стоил всего лишь тридцать восемь франков сорок сантимов и давал ему право останавливаться в пути, чем он и собирался воспользоваться, дабы удовлетворить не то чтобы любопытство к новым местам, каковым он никогда не отличался, но потребность в сне, которая была у него крайне развита. Он ничего так не боялся, как бессонницы; а так как для церкви было важно, чтобы он прибыл в Рим бодрым и свежим, то он решил не смущаться опозданием на два дня, лишними расходами на ночлег... Это были пустяки по сравнению с ночью в вагоне, несомненно бессонной и особенно вредной в виду испарений соседей; а если кто-нибудь из них, желая проветрить, вздумает открыть окно, то это верная простуда... Поэтому он переночует один раз в Марселе, другой раз в Генуе, в скромной, но комфортабельной гостинице, каких всегда немало около вокзалов; и будет в Риме лишь на третий день к вечеру.

Впрочем, путешествие это его занимало, равно как и то, что он едет, наконец, один; ибо он до сорока семи лет прожил под опекой, всюду сопровождаемый либо женой, либо своим другом Блафафасом. Устроившись в уголок вагона, он улыбался, как коза, одними зубами, ожидая приятных событий. Все шло благополучно до самого Марселя.

На второй день он заехал не туда. поглощенный чтением Бедекера по Средней Италии, который он только что купил, он сел не в тот поезд и покатил прямо в Лион, заметил это только в Арле, когда поезд уже трогался, и принужден был доехать до Тараскона: пришлось возвращаться назад; затем, с вечерним поездом, он выехал в Тулон, не желая проводить еще одну ночь в Марселе, где его потревожили клопы.

А между тем у комнаты, выходящей на Каннебьеру, был вполне приличный вид; и у кровати тоже, на которой он доверчиво растянулся, предварительно сложив свою одежду, подсчитав расходы и помолившись. Глаза у него слипались, и он тотчас же уснул.

У клопов особый нрав; они ждут, чтобы погасла свеча, и, едва наступит тьма, устремляются. Они не бродят наугад, — направляются прямо к шее, каковую особенно любят; иногда берутся за кисти рук; есть и такие, которые предпочитают щиколотки. Почему-то они вливают спящему под кожу какой-то едкий сок, который от малейшего трения становится еще более ядовитым...

Зуд, разбудивший Флериссуара, был так жесток, что он зажег свечу, поспешил к зеркалу и усмотрел под нижней челюстью смутную красноту, усеянную неясными белыми точечками; но фитиль плохо горел; зеркало было мутное, глаза заспаны... Он снова лег, почесываясь; снова погасил свечу; через пять минут опять зажег, потому что зуд становился нестерпим; бросился к умывальнику, смочил в кувшине носовой платок и положил его к воспаленной области, каковая, все распространяясь, доходила уже до ключицы. Амедей решил, что он заболевает, и помолился; затем опять задул огонь. Облегчение от примочки было настолько кратко, что страдалец не успел уснуть; теперь к мучениям крапивной лихорадки присоединилось неудобство от мокрого ворота сорочки, который он орошал к тому же и слезами. И вдруг он привскочил от ужаса: клопы! это клопы!.. Как это он не догадался об этом

сразу? Но насекомое это он знал только по имени, и откуда ему было сообразить, что это неопределенное жжение может быть последствием отдельных укусов? Он соскочил с кровати; в третий раз зажег свечу.

Нервный теоретик, он, подобно многим, имел о клопах ложное представление и, похолодев от отвращения, начал их искать на себе: ничего не обнаружил; решил, что ошибся; снова подумал, не болен ли он. На простынях тоже ничего; но все же ему пришло в голову, прежде чем лечь, заглянуть под подушку. И тут он заметил три крошечных черноватых лепешечки, которые быстро юркнули в складку простыни. Это были они!

Поставив свечу на кровать, он их накрыл, раздвинул складку, увидел целых пять и, не решаясь, из чувства брезгливости, раздавить их ногтем, вытряхнул их в ночной горшок и залил мочей. Он посмотрел, как они барахтаются, довольный, свирепый, и ему сразу стало немного легче. Он снова лег; задул свечу.

Зуд, почти немедленно, усилился; теперь уже новый, на затылке. А отчаянии, он снова зажег свет, встал, снял на этот раз рубашку, чтобы внимательно осмотреть ворот. Наконец ему удалось разглядеть, что вдоль шва бегают еле заметные светлокрасные точки, которые он и раздавил о полотно, где после них остался кровавый след; противные твари, такие малюсенькие, что не верилось, — неужели это уже клопы; но вслед затем, еще раз заглянув под подушку, он обнаружил громадину: очевидно, их мать; тогда, ободренный, возбужденный, почти что увлеченный, он убрал подушку, снял простыни и начал шарить методически. Теперь ему казалось, что он видит их всюду; но, в конечном счете, он изловил всего лишь четырех; снова лег и час провел спокойно.

Затем жжение возобновилось. Он вновь отправился на охоту: затем, выбившись из сил, покорился и заметил, что зуд, если не трогать, проходит в общем довольно быстро. На рассвете последние клопы, пресытясь, отстали от него. Он спал глубоким сном, когда коридорный пришел его будить к поезду.

В Тулоне настала очередь блох.

Должно быть, он нажил их в вагоне. Всю ночь он чесался, ворочался сбоку набок и не мог уснуть. Он чувствовал, как они бегают у него по ногам, щекочат ему бока, вгоняют в жар. Так как кожа у него была нежная, то от их укусов вскакивали невероятные волдыри, которые он еще больше будоражил, остервенело их расчесывая. Он несколько раз зажигал свечу; вставал, снимал рубашку и, не поймав ни одной, снова надевал; он едва успевал их заметить: они от него удирали, и даже когда ему удавалось их схватить, когда он считал их уже мертвыми, расплюснутыми пальцем, они тотчас же раздувались снова, выскакивали, чуть только он их отпускал, и прыгали по-прежнему. Он с сожалением вспоминал клопов. Он был сам не свой, и тревожения этой бесплодной погони окончательно испортили ему сон.

И весь следующий день у него чесались ночные прыщи, меж тем как новые позуживания давали знать, что его не оставляют в покое. Вагон был битком набит рабочими, которые пили, курили, плевали, рыгали и ели колбасу, издававшую такой крепкий запах, что Флериссуара несколько раз чуть не стошнило. Однако он только на границе решился переменить купе, боясь, чтобы рабочие, видя, как он пересаживается, не подумали, что они его стесняют; в купе, куда он перебрался, объемистая кормилица перепеленьвала младенца. Все же он сделал попытку уснуть; но ему мешала шляпа. То была плоская соломенная шляпа с черной лентой, так называемый «канотье». Когда Флериссуар оставлял ее в обычном положении, то твердые поля отстраняли голову от стенки; если же, желая прислониться, он надвигал шляпу на лоб, то стенка сталкивала ее вниз; а когда, наоборот, он сдвигал ее на затылок, то поля зажимались между стеной и затылком, и «канотье» приподымался у него над головой, как клапан. В конце концов он снял шляпу совсем и закутал голову фуляром, который, чтобы защититься от света, он

спустил на глаза. Во всяком случае, на ночь он принял меры: утром он купил в Тулоне коробку персидского порошка и решил, хотя бы это обошлось ему и дорого, остановиться на этот раз в одном из лучших отелей; потому что если он и сегодня не будет спать, то в каком же телесном изнеможении прибудет он в Рим? Первый же франк-масон сделает с ним все, что хочет.

В Генуе перед вокзалом ждали омнибусы главнейших отелей; он направился прямо к одному из самых нарядных, не смущаясь чванным видом лакея, взявшего у него его жалкий чемодан; но Амедей не желал с ним расстаться; он не дал поставить его на крышку экипажа и потребовал, чтобы его поместили тут же, рядом, на мягком сиденье. В вестибюле отеля, увидав, что портье говорит по-французски, он приободрился; разойдясь во-всю, он не только спросил «очень хорошую комнату», но еще осведомился о цене тех, которые ему предлагали, решив, что меньше, чем за двенадцать франков, ему ни одна не подойдет.

Комната за семнадцать франков, на которой он остановился после того, как осмотрел их несколько, была просторная, чистая, в меру изящная; изголовьем к стене стояла кровать, медная, опрятная, безусловно необитаемая, для которой порошок явился бы оскорблением. В чем-то вроде огромного шкафа помещался умывальник. Два больших окна выходили в сад; Амедей, склонившись в темноту, долго смотрел на неясную темную листву, давая теплему воздуху успокоить его возбуждение и склонить его ко сну. Над кроватью с трех сторон ниспадал вплотную, как туман, тюлевый полог; спереди, красивым изгибом, его поддерживали тонкие шнурки, похожие на парусные рифы. Флериссуар узнал в нем так называемую «комариную сетку», которой он всегда считал излишним пользоваться.

Умывшись, он с наслаждением растянулся между прохладных простынь. Окно он оставил открытым; не настезь, конечно, потому что боялся простуды и воспаления глаз, но прикрыв одну створку так, чтобы на него не веяло; подсчитал расходы и помолился, потом погасил свет. (Освещение было электрическое, и, чтобы потушить, надо было опустить болтик выключателя.)

Флериссуар готов был уже уснуть, как вдруг тоненькое гудение напомнило ему о непринятой им мере предосторожности — не отворять окна, пока не погашен свет, ибо свет привлекает комаров. Он вспомнил также, что читал где-то благодарение господу богу, наделившему это летучее насекомое особого рода музыкой, предупреждающей спящего о том, что он сейчас будет укушен. Затем он опустил вокруг себя непроницаемый муслин. Затем он опустил вокруг себя непроницаемый муслин. «Насколько это все-таки лучше, — думал он, погружаясь в дремоту, — чем эти пирамидки их сухих трав, которые, под именем „фидибусов“, продает папаша Блафафас; их зажигают на металлическом блюде; они горят, распространяя великое множество наркотического дыма; но, прежде чем очумеют комары, от них успевает наполовину задохнуться спящий. Фидибусы! Какое смешное название! Фидибусы»... Он уже засыпал, как вдруг — острый укус в левую ноздрю. Он поднял руку; и пока он тихонько ощупывал болезненно напухающее место, укус в руку. А у самого уха — насмешливое жужжание... Какой ужас! Он запер врага в крепостных стенах! Он потянулся к болтику и включил ток.

Да! Комар сидел тут, высоко на сетке. Будучи скорее дальнзорок, Амедей видел его очень хорошо, тонкого до нелепости, раскорячившего четыре лапы, а заднюю лапу. длинную и словно завитую, откинувшего назад; нахал! Амедей встал на кровати во весь рост. Но как раздавить насекомое о зыбкую, воздушную ткань? Все равно! Он хлопнул ладонью, так сильно и стремительно, что ему показалось, будто он разодрал сетку. Комар, наверное, попался: он стал искать глазами труп; ничего не нашел; но почувствовал новый укус в икру.

Тогда, чтобы хоть укрыть насколько возможно свою особу, он снова лег; и пролежал с четверть часа, оторопев, не решаясь погасить свет. Затем, не слыша и не видя больше врага, успокоился и погасил. И тотчас же музыка возобновилась.

Тогда он высунул руку, держа ладонь возле лица, и время от времени, когда чувствовал, что комар уселся, как следует, ему на лоб или на щеку, задавал себе звонкую оплеуху. Но немедленно вслед затем снова слышал песню насекомого.

После чего решил закутать голову фуляром, что весьма стеснило свободу его дыхания и не помешало ему быть укушенным в подбородок.

Затем комар, должно быть, пресытись, утих; по крайней мере Амедей, покоренный дремотой, перестал его слышать; он снял фуляр и уснул тревожным сном; во сне он почесывался. На утро его нос, от природы орлиный, напоминал нос пьяницы; прыщ на икре вздулся, как чирей, а прыщ на подбородке принял вулканический облик, на что он и попросил парикмахера обратить внимание, когда, перед отъездом их Генуи, пошел побриться, дабы в приличном виде явиться в Рим.

В Риме, торча перед вокзалом, с чемоданом в руке, такой усталый, такой растерянный и недоуменный, что он не знал, на что решиться, и мог только отклонять предложения отельных портье, Флериссуар, по счастью, напал на носильщика, который говорил по-французки. Батистен был юный марселец, почти безусый, с живыми глазами; признав во Флериссуаре земляка, он взялся его проводить и снести чемодан.

В дороге Флериссуар усердно изучал свой Бедекер. Нечто вроде инстинкта, вроде предчувствия или внутреннего голоса, почти сразу же отвратило его благочестивые заботы от Ватикана и сосредоточило их на замке Святого Ангела, некогда Мавзолея Адриана, на этой знаменитой тюрьме, когда-то укрывавшей в своих тайниках немало прославленных узников и соединенной, как говорят, подземным ходом с Ватиканом.

Он рассматривал план. — «Вот где надо бы поселиться» — решил он, тыкая пальцем в набережную Тординона, напротив замка Святого Ангела. И, по знаменательному стечению обстоятельств, как раз туда его и намеревался увлечь Батистен; правда, не на самую набережную, которая, собственно говоря, обыкновенная береговая дорога, но тут же поблизости, на виа деи Веккьерелли, то есть «улицу старичков», третью улицу, считая от понте Умберто, упирающуюся в насыпь; там он знал спокойный дом (из окон четвертого этажа, если высунуться немного, можно видеть Мавзолей), где очень любезные дамы говорят на всевозможных языках, и одна из них по-французски.

— Если вы устали, можно взять извозчика; это далеко... Да, сегодня посвежело; шел дождь; с дороги полезно пройтись... Нет, чемодан не очень тяжелый; я донесу... Первый раз в Риме! Вы, может быть, из Тулузы?.. Нет; из По. Я должен бы догадаться по выговору.

Так они шли, беседуя. Они направились по виа Виминале; потом по виа Агостино Депретис, ведущей от Виминале к Пинчо; потом по виа Национале дошли до Корсо и пересекли его; далее углубились в лабиринт безыменных переулков. Чемодан был настолько не тяжелый, что носильщик шагал огромными шагами, и Флериссуар с большим трудом поспевал за ним. Он семенял позади Батистена, изнывая от усталости и тая от жары.

— Вот мы и пришли, — сказал, наконец, Батистен, когда тот уже готов был взмолиться о пощаде.

Улица или, вернее, переулок деи Веккьерелли был такой узкий и темный, что Флериссуар боялся в него вступить. Между тем Батистен свернул во второй дом направо, до двери которого от угла набережной было всего лишь несколько метров; в ту же минуту Флериссуар увидел, что из нее выходит берсальер; изящный мундир, на который уже обратил внимание на границе, успокоил его; ибо армии он доверял. Он подошел ближе. На пороге показалась дама, по-видимому хозяйка гостиницы, и приветливо улыбнулась. Она была в черном атласном переднике, в браслетах, с голубой тафтяной лентой вокруг шеи; ее черные, как смоль, волосы, взбитые в высокую прическу, поддерживал огромный черепаховый гребень.

— Твой чемодан снесли в четвертый этаж, — сказала она Амедео, который в этом обращении на ты увидел итальянский обычай или же плохое знание французского языка.

— Grazia! — ответил, он, тоже улыбаясь. — Grazia! — это значило: «мерси», единственное слово по-итальянски, которое он знал и которое, выражая благодарность даме, он хотел, ради вежливости, употребить в женском роде.^[11]

Он начал взбираться наверх, переводя дух и набираясь храбрости на каждой площадке, потому что он был совсем разбит, а грязная лестница окончательно приводила его в уныние. Площадки следовали друг за другом через каждые десять ступеней; лестница нерешительно,

коленами, в три приема подымалась от этажа к этажу. К потолку первой площадки, прямо против входа, была подвешена клетка с чижигом, которую можно было видеть с улицы. На вторую площадку шелудивая кошка затащила рыбью шелуху и собиралась ее есть. На третью площадку выходило отхожее место, и через открытую настежь дверь можно было видеть, рядом с сидением, высокий глиняный горшок с торчащей из него щеткой; на этой площадке Амедей не стал задерживаться.

Во втором этаже, где коптела керосиновая лампа, была большая стеклянная дверь с полустертой надписью «Salone»; но в самой комнате было темно: сквозь стекло Амедей мог только различить, на противоположной стене, зеркало в золоченой раме.

Он был на пути к седьмой площадке, как вдруг еще один военный, на этот раз артиллерист, вышел из комнаты третьего этажа и стал стремительно спускаться по лестнице, причем задел его и, весело бормоча какое-то извинение по-итальянски, пошел дальше, предварительно восстановив его в равновесии; ибо Флериссуар был похож на пьяного и от усталости едва держался на ногах. Успокоенный первым мундиром, он был скорее встревожен вторым.

«С этими военными будет, пожалуй, шумно, — подумал он. — Хорошо, что моя комната в четвертом этаже; пусть уж лучше будут внизу».

Не успел он миновать третий этаж, как какая-то женщина в распахнутом пеньюаре, с распущенными волосами, выбежала из коридора, окликая его.

«Она приняла меня за кого-то другого» — решил он и поспешил наверх, стараясь не глядеть на нее, чтобы не смущать ее тем, что застал ее не совсем одетой.

До четвертого этажа он добрался чуть дыша и здесь увидел Батистена; этот разговаривал по-итальянски с женщиной неопределенного возраста, которая Амедею удивительно напоминала, хоть была и не такой толстой, кухарку Блафафасов.

— Ваш чемодан в шестнадцатом номере, третья дверь. Не споткнитесь только о ведро в коридоре.

— Я выставила его, потому что оно течет, — пояснила женщина по-французски.

Дверь шестнадцатого номера была открыта; на столе горела свеча, озаряя комнату и бросая слабый отсвет в коридор, где, около двери шестнадцатого номера, вокруг жестяного ведра, на полу поблескивала лужа через которую Флериссуар и перешагнул. От нее исходил едкий запах. Чемодан возвышался на виду, на стуле. Очутившись в душной комнате, Амедей почувствовал, что у него кружится голова и, бросив на кровать зонт, плед и шляпу, опустился в кресло. Он обливался потом; он боялся, что ему станет дурно.

— Вот мадам Карола, та самая, которая говорит по-французски, — сказал Батистен.

Оба они вошли в комнату.

— Откройте окно, — вздохнул Флериссуар, не в силах встать.

— Боже мой, как ему жарко! — говорила мадам Карола, отирая его бледное и потное лицо надушенным платочком, который она вынула из корсажа.

— Мы его пододвинем к окну.

И, приподняв вдвоем кресло, в котором покорно покачивался почти лишенный чувств Амедей, они дали ему возможность вдохнуть, вместо коридорного смрада, разнообразное зловоние улицы. Все же прохлада его оживила. Пошарив в жилетном кармане, он извлек скрученную бумажку в пять лир, приготовленную для Батистена:

— Я вам очень благодарен. Теперь оставьте меня.

Носильщик вышел.

— Ты напрасно дал ему так много, — сказала Карола.

Амедей не сомневался больше, что это обращение на ты — итальянский обычай; он мечтал только о том, чтобы лечь; но Карола как будто вовсе и не собиралась уходить, тогда вежливость

взяла верх, и он вступил в беседу.

— Вы говорите по-французски, как француженка.

— Это не удивительно; я из Парижа. А вы?

— Я с юга.

— Я так и думала. Увидев вас, я решила: это, вероятно, провинциал. Вы в первый раз в Италии?

— В первый раз.

— Вы приехали по делам?.

— Да.

— Красивый город, Рим. Есть, что посмотреть.

— Да... Но сегодня я немного устал, — сказал он, набравшись смелости; и, словно извиняясь: — Я уже три дня в дороге.

— Сюда долго ехать.

— И я три ночи не спал.

При этих словах мадам Карола, с внезапной итальянской фамильярностью, к которой Флериссуар все еще не мог привыкнуть, ущипнула его за подбородок:

— Шалун! — сказала она.

Этот жест окрасил легким румянцем лицо Амедея, который, желая сразу же устранить обидные подозрения, начал пространно рассказывать о блохах, клопах и комарах.

— Здесь ничего такого не будет. Ты видишь, как здесь чисто.

— Да; я надеюсь, что буду спать хорошо.

Но она все не уходила. Он с трудом поднялся с кресла, поднес руку к нижним пуговицам жилета и нерешительно заявил:

— Мне кажется, что я лягу.

Мадам Карола поняла смущение Флериссуара:

— Я вижу, ты хочешь, чтобы я немного вышла, — сказала она с тактом.

Как только она ушла, Флериссуар запер дверь на ключ, достал из чемодана ночную рубашку и лег. Но, очевидно, язык у замка не забирал, потому что не успел Амедей задуть свечу, как голова Каролы появилась в полуоткрытой двери, позади кровати, рядом с кроватью, улыбаясь...

Час спустя, когда он опомнился, Карола лежала, прильнув к нему, в его объятиях, обнаженная.

Он высвободил из-под нее затекшую левую руку, отодвинулся. Она спала. Слабый свет, доходивший из переулка, наполнял комнату, и слышно было только ровное дыхание этой женщины. Тогда Амедей Флериссуар, который ощущал во всем теле и в душе какую-то необычайную истому, выпростал из-под одеяла свои тощие ноги и, сев на край постели, заплакал.

Как недавно — пот, так теперь слезы орошали его лицо и смешивались с вагонной пылью; они текли беззвучно, безостановочно, тихой струей, из глубины, словно из потаенного источника. Он думал об Арнике, о Блафафасе, увы! О, если бы они видели! Теперь он ни за что не решится вернуться к ним... Он думал также о своем высоком посланничестве, отныне опороченном; он стонал вполголоса:

— Кончено! Я недостойн больше... Да, кончено! Все кончено!

Странный звук его вздохов разбудил меж тем Каролу. Теперь, стоя на коленях около кровати, он бил себя кулаками в тщедушную грудь, и изумленная Карола слушала, как он стучит зубами и, сквозь рыдания, твердит:

— Спасайся, кто может! Церковь рушится...

Наконец, не выдержав:

— Да что это с тобой, старичок? Или ты рехнулся?

Он обернулся к ней:

— Я вас прошу, мадам Карола, оставьте меня... Мне необходимо остаться одному. Мы увидимся завтра утром.

Затем, так как, в конце концов, он винил только самого себя, он тихонько поцеловал ее в плечо:

— Ах, вы не знаете, как ужасно то, что мы сделали. Нет, нет! Вы не знаете. Вам этого никогда не узнать.

Под пышным титулом «Крестовый поход во имя освобождения папы», мошенническое предприятие покрыло своими темными разветвлениями целый ряд департаментов Франции; Протос, вирмонтальский лже-каноник, был не единственным его агентом, равно как и графиня де Сен-При не единственной его жертвой. И не все жертвы оказывались в одинаковой степени податливы, хотя бы даже агенты и проявляли одинаковое искусство. Сам Протос, школьный товарищ Лафкадио, должен был, после работы, держать ухо востро; он жил в вечном страхе, как бы духовенство, настоящее, не узнало об этом деле, и на то, чтобы обеспечить свой тыл, он тратил не меньше изобретательности, чем на продвижение вперед; но он был разнообразен и, к тому же, имел великолепных сотрудников; во всей поголовно шайке (она называлась «Тысяченожкой») царили изумительное единодушие и дисциплина.

Извещенный в тот же вечер Батистеном о прибытии иностранца и изрядно обеспокоенный тем, что тот оказался приезжим из По, Протос на утро, в семь часов, явился к Кароле. Та еще спала.

Сведения, которые он от нее получил, ее сбивчивый рассказ о сокрушении «паломника» (так она прозвала Амедея), об его уверениях и слезах, не оставляли в нем сомнений. Было очевидно, что проповедь в По принесла плоды; но не совсем такие, как того мог бы желать Протос; надо было не спускать глаз с этого простоватого крестоносца, который своей неловкостью мог выдать то, чего не следует...

— Ну, пропусти меня, — вдруг заявил он Кароле.

Эта фраза могла бы показаться странной, потому что Карола лежала в постели; но странностями Протос не смущался. Он поставил одно колено на кровать; другим коленом перешагнул через лежащую и сделал такой ловкий пируэт, что, слегка оттолкнув кровать, очутился вдруг между ней и стеной. Для Каролы такой прием не был, по-видимому, новостью, потому что она спросила только:

— Что ты намерен делать?

— Одеться священником, — так же просто отвечал Протос.

— Ты выйдешь отсюда?

Протос подумал, потом:

— Да, пожалуй, так будет естественнее.

С этими словами он нагнулся и нажал кнопку потайной двери, скрытой в стенной обшивке и такой низкой, что кровать заслоняла ее совершенно. Когда он пролез в дверь, Карола схватила его за плечо:

— Послушай, — сказала она ему серьезным голосом, — этого ты не смей обижать.

— Да я же тебе говорю, что оденусь священником!

Как только он исчез, Карола встала и начала одеваться.

Я не знаю, как, собственно смотреть на Каролу Венитекуа. Это ее восклицание заставляет меня думать, что сердце у нее еще не слишком глубоко испорчено. Так иногда, на самом дне падения, вдруг открывается странная нежность чувства, подобно тому как посреди навозной кучи вырастает голубой цветок. Послушная и преданная по природе, Карола, как это часто бывает у женщин, нуждалась в руководителе. Покинутая Лафкадио, она тотчас же бросилась на поиски своего прежнего возлюбленного, Протоса, — с досады, назло, чтобы отомстить. Ей снова пришлось пережить тяжелые дни; а Протос, как только она его разыскала, снова сделал из нее свою вещь. Ибо Протос любил властвовать.

Другой человек мог бы поднять, спасти эту женщину. Но этого нужно было бы, во-первых,

захотеть. А Протос, наоборот, словно нарочно старался ее принизить. Мы видели, каких постыдных услуг требовал от нее этот бандит; правда, могло казаться, что она не особенно этому и противится; но, когда человеческая душа восстает против своей позорной судьбы, она иной раз и сама не замечает своих первых порывов; только любовь помогает сказаться тайному возмущению. Или Карола влюбилась в Амедея? Такое предположение было бы слишком смело; но, прикоснувшись к этой чистоте, ее испорченность смутилась; и восклицание, которое я привел, несомненно вырвалось из сердца.

Протос вернулся. Он не переоделся. Он держал в руке кипу платья, которую и положил на стул.

— Ну, что же ты? — спросила она.

— Сначала схожу на почту и посмотрю его корреспонденцию. Я переоденусь в полдень. Дай мне зеркало.

Он подошел к окну и, склонившись над своим отражением, прилепил темнорусые усики, подстриженные вровень с губой, чуть светлее, чем собственные волосы.

— Позови Басистена.

Карола кончала одеваться. Она потянула за шнурок у двери.

— Я тебе говорил, что не желаю, чтобы ты носила эти запонки. Ты обращаешь на себя внимание.

— Ты же знаешь, кто их мне их подарил.

— Вот именно.

— Уж не ревнуешь ли ты?

— Дура!

В эту минуту Батистен постучался и вошел.

— Вот постарайся-ка подняться градусом выше, — обратился к нему Протос, указывая на стуле куртку, воротничок и галстук, которые он принес из-за стены. — Ты будешь сопровождать своего клиента по городу. Я его у тебя возьму только вечером. А до тех пор не теряй его из виду.

Исповедоваться Амедей пошел к Сан-Луиджи де Франчези, а не в собор святого Петра, который подавлял его своей огромностью. Вел его Батистен, который вслед затем проводил его на почту. Как и следовало ожидать, у «Тысяченок» там насчитывались сообщники. По карточке, прикрепленной к чемодану, Батистен узнал, как Флериссуара зовут, с сообщил об этом Протосу; а тот без всяких затруднений получил от услужливого чиновника письмо Арника и без всякого стеснения таковое прочел.

— Странно! — воскликнул Флериссуар, когда, часом позже, явился в свою очередь за корреспонденцией. — Странно! Похоже на то, что письмо было вскрыто.

— Здесь это часто случается, — флегматически заметил Батистен.

К счастью, предусмотрительная Арника позволяла себе только весьма осторожные намеки. Письмо было, впрочем, совсем короткое; в нем просто советовалось, следуя указаниям аббата Мюра, съездить в Неаполь к кардиналу Сан-Фличе, ордена святого Бенедикта, «прежде чем что бы то ни было предпринимать». Более неопределенных и, следовательно, менее компрометирующих выражений нельзя было и придумать.

Перед Мавзолеем Адриана, так называемым замком Святого Ангела, Флериссуар испытал горькое разочарование. Это огромное строение возвышалось посреди внутреннего двора, закрытого для посторонних, куда путешественники допускались только по билетам. Было даже оговорено, что их должен сопровождать сторож...

Разумеется, эти чрезвычайные меры предосторожности только подтверждали подозрения Амедея; но в то же время они позволяли ему оценить всю безумную трудность задуманного. И Флериссуар, отделавшись, наконец, от Батистена, бродил по набережной, почти безлюдной в этот предвечерний час, вдоль стены, преграждающей доступ у замку. Он расхаживал взад и вперед перед подъемным мостом у ворот, мрачный и унылый, потом отходил к самому берегу Тибра и старался, поверх ограды, увидеть хоть что-нибудь.

До сих пор он не обращал внимания на некоего священника (в Риме их такое множество!), который, сидя неподалеку на скамье, казался погруженным в молитвенник, но на самом деле давно уже наблюдал за ним. Почтенный пастырь носил длинные, густые серебряные волосы, и его юный и свежий цвет лица, признак чистой жизни, являл резкую противоположность этому достоянию старости. Уже по одному лицу можно было догадаться, что это священник, а по какой-то особой приятности видно было, что это священник-француз. Когда Флериссуар в третий раз проходил мимо скамьи, аббат вдруг встал, подошел к нему и, рыдающим голосом:

— Как! Не я один! Как! вы тоже его ищите!

При этих словах он закрыл лицо руками и дал волю долго сдерживаемым рыданиям. Потом вдруг, овладевая собой:

— Неосторожный человек! Спрячь свои слезы! Подави свои вздохи!..

И, хватая Амедея за руку:

— Пойдемте отсюда; за нами следят. Мое невольное волнение уже заметили.

Амедей поспешил за ним, недоумевая.

— Но как, — вымолвил он наконец, — но как вы могли догадаться, зачем я здесь?

— Дай-то бог, чтобы мне одному дано было это заметить! Но ваше беспокойство, но печальный взгляд, которым вы озирали эти места, разве могли укрыться от человека, который вот уже три недели приводит здесь дни и ночи? Увы! Едва я вас увидел, какое-то вещее чувство, какое-то внушение свыше открыло мне, что нас с вами объединяет братская... Осторожно! Кто-то идет. Ради всего святого, притворитесь совершенно беззаботным.

Навстречу им по набережной шел разносчик с овощами. Тотчас же, словно продолжал начатое, тем же голосом, но только оживленнее:

— Вот почему эти «Вирджинии», столь ценимые некоторыми курильщиками, всегда закуривают от свечи, предварительно вытянув изнутри тонкую соломинку, которая служит для того, чтобы в сигаре получилась узкая трубочка для дыма. Если у «Вирджинии» плохая тяга, ее лучше просто бросить. Мне случилось видеть, как требовательные курильщики закуривали по шести штук, прежде чем найти себе сигару по вкусу...

И, когда встречный прошел мимо:

— Вы видели, как он на нас смотрел? Надо было во что бы то ни стало отвести ему глаза.

— Как! — воскликнул оторопевший Флериссуар: — неужели и этот зеленщик тоже из тех, кого мы должны остерегаться?

— Я не смею утверждать, но я так думаю. За окрестностями этого замка особенно следят; здесь все время шмыгают агенты специальной полиции. Чтобы не возбуждать подозрений, они наряжаются во что угодно, Это такие ловкачи, такие ловкачи! А мы так простодушны, так

доверчивы от природы! Если я вам скажу, что я чуть было не погубил все, не остерегшись простого носильщика, которому в день приезда дал нести мой скромный багаж от вокзала до того дома, где я остановился! Он говорил по-французски, и хоть я с детства свободно говорю по-итальянски... вы бы сами наверное испытали то же волнение, что овладело и мной, услышав на чужбине родную речь... Так вот, этот носильщик...

— Он тоже?

— Он тоже. Я в этом почти убедился. К счастью, я мало что сказал ему.

— Вы меня пугаете, — отвечал Флериссуар. — Я тоже, когда приехал, то есть вчера вечером, попал в руки проводнику, которому доверил свой чемодан и который говорил по-французски.

— Боже правый! — в ужасе произнес священник. — Уж не звали ли его Батистеном?

— Батистеном, да! — простонал Амедей, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.

— Несчастный! О чем вы с ним говорили? — Священник сжал Амедею руку.

— Я и сам не помню, о чем.

— Постарайтесь, постарайтесь! Вспомните! Ради всего святого!..

— Нет, право же. — лепетал Амедей в страхе, — я, кажется, ничего ему не сказал.

— О чем он мог догадаться?

— Да, право же, ни о чем, уверяю вас. Но вы хорошо сделали, что предупредили меня.

— В какую гостиницу он вас привел?

— Я остановился не в гостинице; я снял комнату в частном доме.

— Это безразлично. Где вы поселились?

— На маленькой улочке, которую вы наверное не знаете, — пробормотал Флериссуар в крайнем смущении. — Я все равно там не останусь.

— Будьте осторожны: если вы поторопитесь съехать, могут подумать, что вы что-то заподозрили.

— Да, может быть, вы правы: мне лучше некоторое время там пожить.

— Но как я благодарен небу, что оно привело вас в Рим именно сегодня! Еще день, и я бы вас не встретил! Завтра, самое позднее, я должен ехать в Неаполь повидаться с одним святым и влиятельным человеком, который втайне очень занят этим делом.

— Это не кардинал Сан-Феличе? — спросил Флериссуар, весь дрожа от волнения.

Священник, в изумлении, отступил на два шага:

— Откуда вы это знаете?

Затем, подойдя поближе:

— Впрочем, что же тут удивительного? В Неаполе он один посвящен в нашу тайну.

— Вы... близко с ним знакомы?

— Знаком ли я с ним? Ах, дорогой мой, ведь это я ему обязан... Да все равно. Вы собирались его повидать?

— Разумеется, если это нужно.

— Это прекраснейший... — Он быстрым движением смахнул слезу. — Вы, конечно, знаете, как его разыскать?

— Я думаю, мне всякий укажет. В Неаполе все его знают.

— Еще бы! Но вы же не собираетесь, ясное дело, оповещать весь Неаполь о вашем посещении? Впрочем, не может же быть, чтобы вам сообщили об его участии в... том, что нам известно, и, быть может, дали к нему какое-нибудь поручение, не предупредив вас в то же время о том, как к нему подойти.

— Вы меня извините, — робко произнес Флериссуар, которому Арника никаких таких указаний не дала.

— Как! Вы, чего доброго, намеревались явиться к нему просто так? Да еще, пожалуй, в архиепископский дом? — Аббат расхохотался. — И, без дальних слов, открыться ему!

— Должен вам признаться, что...

— А знаете ли вы, — продолжал тот строгим голосом, — знаете ли вы, что по вашей милости его тоже могли бы посадить в тюрьму?

У него был такой недовольный вид, что Флериссуар не решался заговорить.

— Доверять такое исключительное дело таким легкомысленным людям! — бормотал Протос; он потянул было из кармана четки, снова их спрятал, потом лихорадочно перекрестился; затем, обращаясь к своему спутнику: — Да скажите же, кто вас, собственно, просил вмешиваться в это дело? Чьи предписания вы исполняете?

— Простите меня, господин аббат, — смущенно отвечал Флериссуар, — я ни от кого не получал предписаний; я — бедная, тоскующая душа и пустился на поиски сам.

Эти смиренные слова, видимо, обезоружили аббата; он протянул Флериссуару руку:

— Я был резок с вами... но ведь нас окружают такие опасности! — Затем, помолчав немного: — Вот что! Хотите, поезжайте завтра со мной? Мы вместе повидаем моего друга... — И, поднимая глаза к небу: — Да, я осмеливаюсь называть его своим другом, — прибавил он проникновенным голосом. — Присядем на эту скамью. Я напишу записку, и мы оба ее подпишем, чтобы предупредить его о нашем приезде. Если мы ее опустим до шести часов (до восемнадцати часов, как здесь говорят), то он получит ее завтра утром и около полудня может нас принять; мы даже, наверное, у него позавтракаем.

Они сели. Протос достал из кармана записную книжку и начал писать на чистом листке, на глазах у растерянного Амедея: «Старина...»

Видя изумление Амедея, он спокойно улыбнулся:

— Так вы бы написали прямо кардиналу, если бы вам дать волю?

И уже более дружественным тоном он любезно пояснил Амедею:

— Раз в неделю кардинал Сан-Феличе тайно покидает архиепископский дом, одетый простым аббатом, становится капелланом Бардолотти, отправляется на склоны Вомеро и там, в скромной вилле, принимает немногих друзей и читает секретные письма, которые он под этим вымышленным именем получает от посвященных. Но и в этом простом наряде он не чувствует себя спокойно; он не уверен, что письма, приходящие к нему по почте, не вскрываются, и умоляет, чтобы в них не заключалось ничего, обращающего на себя внимание, чтобы самый их тон ни в коем случае не позволял догадываться об его сане, ни в малейшей степени не дышал почтительностью.

Посвященный в заговор, теперь улыбался и Амедей.

— «Старина...» Ну-с, что же мы ему напишем, этому старине? — шутил аббат, поводя карандашом: — Ага! «Я везу к тебе старого чудака» (Да, да! Вы оставьте: я знаю, какой тут нужен тон!). «Достань бутылку-другую фалерна, и завтра мы ее с тобой выдудим. Весело будет». — Вот. Подпишите и вы.

— Мне, может быть, лучше не писать моего настоящего имени?

— Вы-то можете, — ответил Протос и, рядом с именем Амедея Флериссуара поставил: «Cave».^[12]

— Вот это ловко!

— Что? Вас удивляет, что я подписываюсь «Cave»? У вас в голове только ватиканские подземелья. Так знайте же, любезнейший мсье Флериссуар: «cave» также латинское слово и значит «берегись».

Все это было произнесено таким высокомерным и странным тоном, что у бедного Амедея по спине пробежали мурашки. Но то был лишь миг; аббат Каве снова стал приветлив и,

протягивая Флериссуару конверт с надписанным на нем апокрифическим адресом кардинала:

— Не опустите ли вы его в ящик сами? Так будет осторожнее; письма духовенства вскрываются. А теперь распростимся; нам не следует быть дольше вместе. Условимся встретиться завтра утром в поезде, который идет в Неаполь в семь тридцать. В третьем классе. Разумеется, я буду не в этом костюме (еще бы!). Вы меня увидите простым калабрийским поселянином. (Это потому, что мне бы очень не хотелось стричь волосы.) До свидания! До свидания!

Он удалялся, помахивая рукой.

— Благословение небесам, которые дали мне встретиться с этим достойным аббатом! — шептал Флериссуар, возвращаясь домой. — Что бы я стал делать без него?

А Протос, уходя, бормотал:

— Мы тебе покажем кардинала!.. Ведь без меня он и в самом деле отправился бы к настоящему!

Так как Флериссуар жаловался на крайнюю усталость, Карола на этот раз дала ему спать спокойно, несмотря на свое неравнодушие к нему и на сострадательную нежность, которая ее охватила, когда он ей признался в своей неопытности в делах любви, — спать спокойно, насколько то ему позволял невыносимый зуд во всем теле от великого множества укусов, как блошинных, так и комариных.

— Ты напрасно так чешешься! — сказала она ему на утро. — Ты только беречь. Ах, как он у тебя воспален! — и она трогала прыщ на подбородке. Затем, когда он собирался в путь: — Вот, возьми на память обо мне. — И она продела в манжеты «паломника» нелепые запонки, которые Протос запрещал ей носить. Амедей обещал вернуться в тот же вечер или, самое позднее, на следующий день.

— Ты мне даешь слово, что ничем его не обидишь, — твердила Карола минуту спустя Протосу, который, уже переряженный, пролезал сквозь потайную дверь; и, так как он задержался, прячась, пока не уйдет Флериссуар, ему пришлось взять до вокзала извозчика.

В своем новом облики, в плаще, в коричневых штанах, в сандалиях, зашнурованных поверх синих чулок, с короткой трубкой, в рыжей шляпе с плоскими полями, он несомненно был гораздо меньше похож на священника, чем на чистокровного абруццкого разбойника. Флериссуар, прохаживаясь вдоль поезда, не решался его признать, но тот, поравнявшись с ним, приложил палец к губам, как святой великомученик Петр, прошел мимо, словно не видя его, и скрылся в одном из головных вагонов. Через минуту он снова показался в окне, посмотрел в сторону Амедея, прищурил глаз и тихонько поманил его рукой; когда тот собирался войти к нему в купе, он шепнул:

— Посмотрите, нет ли кого-нибудь рядом.

Никого; к тому же и купе было крайним в вагоне.

— Я шел за вами по улице, на расстоянии, — продолжал Протос, — но не подходил, боясь, чтобы нас не заметили вдвоем.

— Как же это я вас не видал? — сказал Флериссуар. — Я много раз оборачивался, именно чтобы убедиться, что за мной никто не следит. Вчерашний разговор с вами посеял во мне такую тревогу! Мне повсюду чудятся шпионы.

— К сожалению, это чересчур заметно. По-вашему это естественно — оборачиваться каждые двадцать шагов?

— Что вы? Разве, в самом деле, было похоже, что я...

— Что вы боитесь. Увы, вот именно: боитесь! Ничто так не компрометирует.

— И, несмотря на это, я даже не заметил, что вы идете следом за мной!.. Зато, после нашего разговора, каждый встречный кажется мне каким-то подозрительным. Если они на меня смотрят, я волнуюсь; а если не смотрят, то они как будто нарочно делают вид, что не замечают меня. Я никогда раньше не отдавал себе отчета, как редко чье-нибудь присутствие на улице может быть оправдано. На двенадцать человек не найдется и четырех, профессия которых сразу бы угадывалась. Да, вот уж можно сказать: задали вы мне задачу! Знаете, для человека, по природе доверчивого, как я, подозрительность — нелегкое дело: мне приходится учиться...

— Ничего, научитесь; и даже скоро; вот увидите: через некоторое время это входит в привычку. Увы! мне самому пришлось ее усвоить... Главное — казаться веселым. Да, к вашему сведению: когда вам кажется, что за вами следят, не оборачивайтесь: просто уроните палку или зонт, смотря по погоде, или платок, и, наклонившись, чтобы поднять, посмотрите между ног, назад, естественным движением. Советую вам поупражняться. Но скажите, как вы меня

находите в этом костюме? Я боюсь, не выглядывает ли кое-откуда священник.

— Будьте спокойны, — простосердечно отвечал Флериссуар, — никто, кроме меня, я уверен, не догадался бы, кто вы такой. — И, сочувственно взирая на него, слегка склонив голову: — Конечно, присматриваясь, я угадываю под вашим нарядом что-то церковное, а под вашей веселостью — скорбь, которая терзает нас обоих; но как вы умеете владеть собой, чтобы до такой степени ее не обнаруживать! Что касается меня, то мне еще порядочно придется поработать, я это вижу; ваши советы...

— Какие у вас забавные запонки, — перебил его Протос, которому смешно было увидеть у Флериссуара запонки Каролы.

— Это подарок, — сказал тот, краснея.

Стояла страшная жара. Протос посмотрел в окно.

— Монте Кассино, — сказал он. — Видите там, на горе, знаменитый монастырь?

— Да, различаю, — рассеянно ответил Флериссуар.

— Я вижу, вы не очень-то чувствительны к видам.

— Нет, как же, как же! — возразил Флериссуар. — Чувствителен! Но как вы хотите, чтобы я чем-нибудь интересовался, пока не кончилась моя тревога? Это как в Риме с памятниками; я ничего не видел; мне ничего не хотелось видеть.

— Как я вас понимаю! — сказал Протос. — Я тоже, — я вам уже говорил, с тех пор, как приехал в Рим, все время провожу между Ватиканом и замком Святого Ангела.

— Это жаль. Но вы-то уже бывали в Риме.

Так беседовали наши путешественники.

У Казерте они вышли порознь — закусить и выпить.

— Так же и в Неаполе, — сказал Протос, — когда мы будем подходить к его вилле, мы, если позволите, расстанемся. Вы пойдете за мной в отдалении; так как мне потребуется известное время, особенно если он окажется не один, на то, чтобы объяснить ему, кто вы такой и цель вашего посещения, то вы войдете через четверть часа после меня.

— Я этим воспользуюсь, чтобы побриться. Сегодня утром я не успел.

Они доехали в трамвае до пиацца Данте.

— Теперь расстанемся, — сказал Протос. — Дорога еще дальняя, но так будет лучше. Идите за мной в пятидесяти шагах; и не смотрите на меня все время так, словно вы боитесь меня потерять; и не оборачивайтесь также, не то за нами начнут следить. Смотрите весело.

Он пошел вперед. Потупив глаза, за ним следовал Флериссуар. Узкая улица круто подымалась в гору; солнце жгло; пот так и лил; толкались разгоряченные люди, орали, размахивали руками, пели и оглушали Флериссуара. Перед заводным органом плясали полуголые ребятишки. По два сольдо билет — устраивалась летучая лотерея вокруг жирного, общипанного индюка, которого высоко вздымал в руке какой-то скоморох; для большей естественности, Протос, проходя мимо, купил балет и исчез в толпе; остановленный давкой, Флериссуар подумал было, что и в самом деле его потерял; затем увидел, что тот, миновав толпу, идет уже дальше в гору, мелкими шагами, унося подмышкой индюка.

Наконец, дома пошли уже не сплошь, стали ниже, толпа редела. Протос начал замедлять шаг. Он остановился возле цирюльни и, обернувшись у Флериссуару, мигнул ему; затем, двадцатью шагами дальше, снова остановился у низенькой двери и позвонил.

Витрина цирюльника была не особенно привлекательна; но у аббата Каве были, очевидно, какие-то основания указать именно на эту лавочку; впрочем, Флериссуару пришлось бы возвращаться далеко вспять, чтобы найти другую и притом едва ли более заманчивую, чем эта. Дверь, в виду крайней жары, была не заперта; занавеска из грубой кисеи задерживала мух и пропускала воздух; чтобы войти, надо было ее приподнять; он вошел.

Видимо, это был человек опытный, этот цирюльник, который, намывив Амедео подбородок, осторожно удалил краешком салфетки пену и обнажил красный прыщ, указанный ему боязливым клиентом. О истома! Жаркий полусон этой тихой лавочки! Амедей, откинув голову, полулежа в кожаном кресле, отдался неге. Ах, хотя бы на миг забыть! Не думать о папе, о комарах, о Кароле! Вообразить, что ты в По, возле Арники; вообразить, что ты еще где-нибудь; не знать, где ты... Он закрывал глаза, потом, приоткрывая их, видел, словно во сне, напротив, на стене, женщину с распущенными волосами, выходящую из неаполитанского моря и выносящую из волн, вместе со сладостным ощущением прохлады, ослепительную склянку с составом для укрепления волос. Под этим плакатом виднелись еще склянки, выстроенные на мраморной доске рядом со столбиком фиксажура, пуховкой, зубо-врачебными щипцами, гребенкой, ланцетом, банкой помады, сосудом, где лениво плавало несколько пиявок, другим сосудом, содержащим ленту солитера, и третьим, без крышки, с каким-то студенистым веществом и с приклеенной к прозрачному стеклу этикеткой, на которой причудливыми прописными буквами значилось: ANTISEPTIC.

Теперь цирюльник, чтобы придать совершенство своей работе, снова покрывал уже выбритое лицо жирной пеной и, лезвием новой бритвы, оправленной о влажную ладонь, наводил лоск. Амедей забыл о том, что его ждут; забыл о том, что ему надо идти; засыпал... В эту минуту громогласный сицилианец вошел в лавочку, раздирая тишину; а цирюльник, вступив в беседу, начал брить уже рассеянной рукой и широким взмахом лезвия — раз! — скovyрнул прыщ.

Амедей вскрикнул, поднял руку к ссадине, на которой выступила капля крови.

— Niente! Niente!^[13] — сказал цирюльник, останавливая его руку, затем, щедро захватив из выдвижного ящика пожелтелой ваты, обмакнул ее в Antiseptic и приложил к больному месту.

Уже не думая о том, оборачиваются ли на него прохожие, — куда побежал Амедей, спускаясь к городу? Первому же аптекарю, которого он находит, он показывает свое увечье. Специалист улыбается, зеленоватый старик, нездорового вида; достает из коробки небольшой круглый пластырь, проводит по нему широким языком и...

Выскочив из аптеки, Флериссуар плюнул от отвращения, сорвал липкий пластырь и, сжав двумя пальцами свой прыщ, выдавил из него как можно больше крови. Затем, смочив носовой платок слюной, на этот раз своей собственной, стал тереть. Потом, взглянув на часы, ужаснулся, бросился в гору бегом и прибежал к двери кардинала, в поту, задыхаясь, испачканный кровью, весь красный, с опозданием на четверть часа.

Протос вышел ему навстречу, приложив палец к губам:

— Мы не одни, — быстро заговорил он. — При слугах — величайшая осторожность; они все говорят по-французски; ни слова, ни жеста, по которым они могли бы догадаться; и не вздумайте ляпнуть ему кардинала, чего доброго: вы в гостях у Чиро Бардолотти, капеллана. Я тоже не «аббат Каве», а просто «Каве». Поняли? — И вдруг, меняя тон, очень громко и хлопая его по плечу: — А вот и он! Вот и Амедей! Ну, братец, нечего сказать, и брился же ты! Еще немного, и, рег Вассо, мы сели бы за стол без тебя. Индюк на вертеле уже зарделся, как солнце на закате. — Затем, шопотом: — Ах, если бы вы знали, как мне тягостно притворяться! У меня душа болит... — Затем, во весь голос: — Что я вижу? Тебя порезали! У тебя идет кровь! Дорино! Сбегай в сарай; принеси паутину: это лучшее средство при порезах...

Так, балаганя, он подталкивал Флериссуара через вестибюль к внутреннему саду с террасой, где в беседке был приготовлен завтрак.

— Мой милый Бардолотти, позвольте вам представить моего кузена, мсье де Ла Флериссуара, того самого молодчика, о котором я вам говорил.

— Милости просим, дорогой гость, сказал Бардолотти с приветственным жестом, но не вставая с кресла, в котором он сидел, затем, показывая на свои босые ноги, опущенные в лохань с прозрачной водой: — Ножная ванна возбуждает аппетит и оттягивает кровь от головы.

Это был забавный толстенький человечек, с гладким лицом, по которому нельзя было судить ни о возрасте, ни о поле. Он был одет в альпака; ничто в его облике не изобличало высокого сановника; надо было быть весьма прозорливым или же заранее предупрежденным, как Флериссуар, чтобы различить под его веселой внешностью неуловимое кардинальское благолепие. Он сидел, облокотясь боком о стол, и небрежно обмахивался чем-то вроде островерхой шляпы, сделанной из газеты.

— Ах, до чего я тронут!.. Ах, какой прелестный сад, — лепетал Флериссуар, стесняясь говорить, стесняясь и молчать.

— Довольно мокнуть! — крикнул кардинал. — Эй, убрать эту посудину! Ассунта!

Молоденькая служанка, приветливая и дородная, прибежала, взяла лохань и пошла опорожнять ее над клумбой; ее груди, выступив из корсета, дрожали под тканью блузки; она смеялась и мешкала рядом с Протосом, и Флериссуара смущала яркость ее голых рук. Дорино принес «Фьяски»^[14] и поставил на стол. Солнце резвилось сквозь виноградную сень, щекоча неровным светом блюда на непокрытом столе.

— Здесь — без церемоний, — сказал Бардолотти и надел на голову газету. — Вы меня понимаете, дорогой гость?

Повелительным голосом, отчеканивая каждый слог и ударяя кулаком по столу, аббат Каве подтвердил:

— Здесь без церемоний.

Флериссуар многозначительно подмигнул. Понимает ли он! Еще бы, ему можно и не напоминать; но он тщетно подыскивал какую-нибудь фразу, которая ничего бы не значила и в то же время все бы выражала.

— Говорите! Говорите! — шепнул ему Протос. — Острийте; они отлично понимают по-французски.

— Нуте-с! Садитесь! — сказал Чиро. — Дорогой Каве, вспорите-ка живот этому арбузу и нарежьте нам турецких полумесяцев. Или вы из тех, мсье де ла Флериссуар, кто предпочитает претенциозные северные дыни, сахарные, прескоты, канталупы и как их там еще, нашим

сочным итальянским дыням?

— Ни одна не сравнится с этой, я уверен; но разрешите мне воздержаться: у меня немного сосет под ложечкой, — отвечал Амедей, которого мутило от отвращения при воспоминании об аптекаре.

— Тогда хоть винных ягод! Дорино только что нарвал.

— Извините меня, тоже нет!

— Так нельзя! Нельзя! Да острите же! — шепнул ему на ухо Протос; затем, вслух: — Всполоснем ему ложечку вином и очистим ее для индейки. Ассунта, налей нашему любезному гостю.

Амедею пришлось чокаться и пить сверх обычной меры. При содействии жары и усталости у него скоро начало мутиться в глазах. Он шутил уже с большей легкостью. Протос заставил его петь; голос у него был жиденский, но все пришли в восторг; Ассунта захотела его поцеловать. Меж тем из глубины его терзаемой веры подымалась невыразимая тоска; он хохотал, чтобы не расплакаться. Он поражался непринужденностью Каве, его естественностью... Кому, кроме Флериссуара и кардинала, могла бы прийти в голову, что он притворяется? Впрочем, и Бардолотти по силе притворства, по самообладанию ни в чем не уступал аббату, смеялся, рукоплескал и игриво подталкивал Дорино, пока Каве, держа Ассунту в объятиях, зарывался губами в ее лицо, и когда Флериссуар, с разрывающимся сердцем, наклоняясь к аббату, прошептал:

— Как вы должны страдать! — тот, за спиной у Ассунты, взял его за руку и молча пожал ее ему, отведя лицо и возводя очи к небу.

Затем, внезапно выпрямившись, Каве хлопнул в ладони:

— Эй, вы, оставьте нас одних! Нет, уберете потом. Ступайте. Via! Via!^[15]

Он пошел удостовериться, что Дорино и Ассунта не подслушивают, и вернулся серьезным и озабоченным, а кардинал, проведя рукой по лицу, сразу согнал с него напускное мирское веселье.

— Вы видите, мсье де ла Флериссуар, сын мой, вы видите, до чего мы доведены! О, эта комедия! Эта позорная комедия!

— Она нам делает ненавистной, — подхватил Протос, — самую безгрешную радость, самое чистое веселье.

— Господь вам воздаст, бедный, дорогой аббат Каве, — продолжал кардинал, обращаясь к Протосу. — Господь вас вознаградит за то, что вы мне помогаете испить эту чашу, — я, в виде, символа, он залпом осушил свой наполовину полный стакан, причем на лице его изобразилось мучительное отвращение.

— Как! — воскликнул Флериссуар, наклоняясь вперед: — неужели даже в этом убежище и в этой чужой одежде ваше преосвященство должны...

— Сын мой, не называйте меня так.

— Простите, между нами...

— Даже когда я один, я и то дрожу.

— Разве вы не можете сами выбирать себе слуг?

— Их для меня выбирают; и эти двое, которых видели...

— Ах, если бы я ему рассказал, — перебил Протос, — куда они сейчас же пойдут донести о каждом нашем слове!

— Неужели же архиепископ...

— Тш! Забудьте эти громкие слова! Вы нас приведете на виселицу. Помните, что вы беседуете с капелланом Чиро Бардолотти.

— Я в их руках, — простонал Чиро.

И Протос, наклонясь над столом, о который он облакачивался, и оборачиваясь в сторону Чиро:

— А если я ему расскажу, что вас ни на час не оставляют одного, ни днем, ни ночью!

— Да, в какой бы одежде я ни был, — продолжал поддельный кардинал, — я никогда не могу быть уверен: что за мной не идет по пятам тайная полиция.

— Как? В этом доме известно, кто вы такой?

— Вы меня не понимаете, — сказал Протос. — Видит бог, вы один из немногих, кто может похвастаться, что усматривает какое бы то ни было сходство между кардиналом Сан-Феличе и скромным Бардолотти. Но поймите вот что: у них разные враги! И в то время как кардиналу, в архиепископском доме, приходится защищаться против франк-масонов, за капелланом Бардолотти следят...

— Иезуиты! — исступленно выкрикнул капеллан.

— Я ему еще об этом еще не говорил, — добавил Протос.

— О, если еще и иезуиты против нас! — воскликнул Флериссуар. — Кто бы мог подумать? Иезуиты! Вы уверены в этом?

— Вы пораздумайте, и увидите, что это вполне естественно. Поймите, что эта новая политика святейшего престола, такая уступчивая, такая примирительная, не может им не нравиться, и последние энциклики им на-руку. Им, может быть, и неизвестно, что папа, который их обнародовал, не настоящий; но они были бы в отчаянии, если бы его заменили другим.

— Если я вас правильно понимаю, — заметил Флериссуар, — иезуиты в этом деле являются союзниками франк-масонов?

— Откуда вы это взяли?

— Но то, что мне сейчас сообщил мсье Бардолотти...

— Не приписывайте ему нелепостей.

— Извините меня; я плохо разбираюсь в политике.

— Поэтому довольствуйтесь тем, что вам сказано: налицо две могущественных партии — Ложа и Братство Иисусово; и так как мы, посвященные в тайну, не можем, не разоблачая ее, обратиться за поддержкой ни к тем, ни к другим, то все они против нас.

— А? Что вы об этом думаете? — спросил кардинал.

Флериссуар ничего уже не думал; он чувствовал себя совершенно подавленным.

— Все против тебя! — воскликнул Протос. — Так всегда бывает, когда обладаешь истиной.

— Ах, какой я был счастливый, когда я ничего не знал! — простонал Флериссуар. — Увы! теперь я уже никогда не смогу не знать!..

— Он вам еще не все сказал, — продолжал Протос, дотрагиваясь до его плеча. — Приготовьтесь к самому ужасному... — Затем, наклонившись к нему, начал шопотом: — несмотря на все предосторожности, о тайне проведали; есть проходимцы, которые ею пользуются, путешествуют в набожных местностях, из дома в дом и, прикрываясь именем крестового похода, собирают в свою пользу деньги, предназначенные нам.

— Но ведь это же ужасно!

— Прибавьте к этому, — сказал Бардолотти, — что таким образом они дискредитируют нас и вынуждают нас еще больше хитрить и остерегаться.

— Вот, прочтите-ка! — сказал Протос, протягивая Флериссуару номер «La Croix». — Это третьегодняяшняя газета. Вот вам простая заметка, которая достаточно красноречива!

«Мы всячески предостерегаем верующих, — прочел Флериссуар, — против проделок самозванных священников и в особенности некоего лже-каноника, который выдает себя за исполнителя тайной миссии и, злоупотребляя людской доверчивостью, вымогает деньги в

пользу предприятия, именуемого „Крестовый поход во имя освобождения папы“. Одно название этой затеи достаточно свидетельствует об ее бессмысленности».

Флериссуар чувствовал, что под ним колеблется и расступается земля.

— Но кому же верить? А что, если я вам скажу, господа, что, быть может, именно благодаря этому жулику, — я хочу сказать: этому лжеканонику, — я сейчас с вами и сижу!

Аббат Каве сосредоточенно взглянул на кардинала, затем, стукнув кулаком по столу:

— А ведь знаете, я так и думал! — воскликнул он.

— И я теперь склонен опасаться, — продолжал Флериссуар, — что та особа, через которую я узнал об этом деле, сама была жертвой этого разбойника.

— Я бы этому не удивился, — заметил Протос.

— Вы сами теперь видите, — сказал Бардолотти, — легко ли наше положение, когда, с одной стороны, эти проходимцы присваивают себе нашу роль, а с другой стороны, полиция, желая их изловить, всегда может нас принять за них.

— Другими словами, — простонал Флериссуар, — не знаешь, как быть; я вижу кругом одни только опасности.

— Станете ли вы после этого удивляться, — сказал Бардолотти, — нашей преувеличенной осторожности?

— И поймете ли вы, — добавил Протос, что иной раз мы идем на то, чтобы надеть на себя личину греха и изображать потворство самым греховным удовольствиям!

— Увы! — лепетал Флериссуар: — вы-то хоть, по крайней мере, ограничиваетесь личиной и притворяетесь грешными, чтобы скрыть свою добродетель. А я...

И так как винные пары смешивались у него с туманом печали, а пьяная отрыжка — со всхлипываниями, то, склонившись в сторону Протоса, он сперва изрыгнул завтрак, а затем сумбурно поведал о своем вечере с Каролой и конце своего девства. Бардолотти и аббат Каве насилу удерживались, чтобы не прыснуть со смеху.

— Ну, и что же, сын мой, вы принесли покаяние? — участливо спросил кардинал.

— На следующее же утро.

— Священник дал вам отпущение?

— Слишком легко даже. Это-то меня и мучит... Но мог ли я ему признаться, что перед ним не просто паломник; открыть ему, что привело меня сюда?.. Нет, нет! Теперь конец! Это высокое посланничество требовало непорочного избранника. Я был как бы создан для него. Теперь — конец! Я пал!

Он сотрясался от рыданий и, колотя себя в грудь, повторял:

— Я больше не достоин! Я больше не достоин!.. — и затем продолжал нараспев: — О вы, которые мне внимаете и видите мое отчаяние, судите меня, приговорите меня, накажите меня!.. Скажите мне, какое необычайное покаяние очистит меня от этого необычайного преступления? Какая кара?

Протос и Бардолотти переглядывались. Наконец кардинал встал с места и похлопал Амедея по плечу:

— Полно, полно, сын мой! Не надо же все-таки так расстраиваться. Ну да, вы согрешили. Но, чорт возьми, вы нам нужны по-прежнему... Вы совсем перепачкались; нате, возьмите салфетку; оботритесь!.. Но я понимаю вашу скорбь, и, раз вы к нам обращаетесь, мы вам поможем испустить свою вину... Вы не так делаете. дайте, я вам помогу...

— Ах, не трудитесь! Спасибо, спасибо, — говорил Флериссуар; а Бардолотти, чистя его, продолжал:

— Я понимаю ваши сомнения; и, уважая их, я вам предложу для начала небольшую, скромную работу, которая даст вам случай подняться и докажет вашу преданность.

— Я только этого и жду.

— Скажите, дорогой аббат Каве, у вас с собой этот чек?

Из внутреннего кармана своего плаща Протос достал бумажку.

— Так как мы окружены врагами, — продолжал кардинал, — нам иной раз бывает трудно получать те как бы пожертвования, которые нам по тайному побуждению посылают добрые люди. За нами следят и франк-масоны, и иезуиты, и полиция, и разбойники, и поэтому неудобно, чтобы мы являлись с чеками и переводами на почту или в банк, где нас могут узнать. Проходимцы, о которых вам рассказывал сегодня аббат Каве, до такой степени дискредитировали всякого рода споры! (Протос между тем нетерпеливо постукивал пальцами по столу.) Словом, вот небольшой чек на шесть тысяч франков, по которому я вас прошу, сын мой, получить для нас деньги; он выдан на Коммерческий кредит в Риме герцогиней Понте-Кавалло; хоть он и предназначен для архиепископа, для получателя ради осторожности не проставлено, так что по нему может получить любой предьявитель; вы смело можете поставить на нем ваше имя, оно ни в ком не возбудит сомнений. Смотрите, чтобы его у вас не украли, а также и... Что вы, дорогой аббат Каве? Вы словно чем-то взволнованы?

— Продолжайте.

— А также и деньги, которые вы мне привезете через... позвольте: вы возвращаетесь в Рим сегодня к ночи; завтра вы можете выехать со скорым, который идет в шесть часов вечера; в десять часов вы будете в Неаполе, а я выйду вас встретить на перрон. Затем мы подумаем о том, чтобы занять вас чем-нибудь более высоким... Нет, сын мой, не целуйте мне руку, вы же видите, на ней нет перстня.

Он коснулся лба полупростершегося перед ним Амедея, которого Протос вслед затем взял под локоть и слегка потряс:

— Ну-ка, выпейте глоток на дорогу. Я очень жалею, что не могу проводить вас до Рима; они и лучше, чтобы нас не видели вместе. Прощайте. Поцелуемся, дорогой Флериссуар. Храни вас господь! И благодарение ему за то, что он дал мне встретиться с вами.

Он проводил Флериссуара до порога и, прощаясь с ним, говорил:

— Ну вот, сударь мой, что вы скажете о кардинале? Разве не больно видеть, до чего довели преследования столь благородный ум!

Затем, вернувшись к самозванцу:

— Болван! Нечего сказать, придумал тоже! Поручить чек простофиле, у которого даже паспорта нет и с которого мне придется не спускать глаз!

Но Бардолотти, совсем уже засыпая, уронил голову на стол, бормоча:

— Надо же чем-нибудь занимать старичков.

Протос прошел в одну из комнат виллы снять парик и крестьянское платье; вскоре он вернулся, помолодев на тридцать лет, в образе приказчика или банковского служащего, из самых мелких. Ему мало оставалось времени до поезда, с которым должен был ехать также и Флериссуар, а потому он ушел, не прощаясь с уснувшим Бардолотти.

В тот же вечер Флериссуар возвратился в Рим на виа деи Веккьерелли. Он был крайне утомлен и упросил Каролу дать ему спать.

На утро, когда он проснулся, его прыщ наощупь показался ему каким-то странным; он осмотрел его в зеркало и убедился, что ссадина покрылась желтоватым струпом; все это имело подозрительный вид. Услышав на площадке шаги Каролы, он позвал ее и попросил взглянуть на болячку. Она подвела Флериссуара к свету и сразу же заявила:

— Это не то, что ты думаешь.

По правде говоря, Амедей и не думал вовсе, чтобы это могло быть «то», но старания Каролы его успокоить только встревожили его. Ведь раз она утверждает, что это не «то», так, значит, это могла бы быть и «то». В конце концов, уверена ли она, что это не так? А что это может быть так, казалось ему вполне естественным; ведь он же согрешил; он заслужил, чтобы это как и было. Так оно, должно быть, и есть. Мороз пробежал у него по коже.

— Как это у тебя случилось? — спросила она.

Ах, что значила случайная причина — порез бритвой или слюна аптекаря? Основную причину, ту, которая привела его к этой каре, как он ей откроет? Да и поймет ли она? Ей, наверное, покажется смешно... Она повторила вопрос.

— Это парикмахер, — ответил он.

— Тебе бы следовало что-нибудь приложить.

Такая ее заботливость разогнала у него последние сомнения; то, что она сказала сперва, было сказано только для того, чтобы его успокоить: ему уже казалось, что его лицо и тело изъедены гнойниками, внушая ужас Арнике; глаза его наполнились слезами.

— Так по-твоему...

— Да нет же, цыпочка; нельзя же так пугаться; у тебя вид похоронной процессии. Во-первых, если бы это было «то», так об этом все равно еще рано было бы судить.

— Нет, это так и есть!.. О, это мне поделом! Поделом! — начал он снова.

Ей стало жаль его.

— И потом, так это никогда не начинается; хочешь, я позову хозяйку, она тебе скажет?.. Нет? Ну, тогда пройдишь немного, чтобы рассеяться, и выпей марсалы.

Она помолчала. Затем, не в силах больше ждать:

— Послушай, — начала она. — Мне надо с тобой поговорить о серьезных вещах: ты вчера не встречал одного такого священника с седыми волосами?

Откуда она это знает? Флериссуар изумленно спросил:

— А почему?

— Так вот... — Она опять умолкла; посмотрела на него и увидела его таким бледным, что договорилась единым духом: — Так вот: ты его остерегайся. Поверь мне, цыпочка моя, он тебя общиплет. Мне бы не следовало говорить это тебе, но... ты его остерегайся.

Амедей собрался итти, совершенно потрясенный ее последними словами; он был уже на лестнице, но она его позвала обратно.

— А главное, если ты его увидишь, не говори ему, что я тебе сказала. Это было бы все равно, как если бы ты меня убил.

Жизнь, положительно, становилась слишком сложной для Амедея. Вдобавок ноги у него зябли, голова горела, и мысли пришли в полное расстройство. Как теперь узнать, не шутник ли и самый этот аббат Каве?.. Но в таком случае и кардинал тоже, чего доброго?.. Ну, а как же чек в таком случае? Он достал бумажку из кармана, пощупал, утвердил ее действительность. Нет, нет,

это не может быть! Карола ошибается. и потом, откуда ей знать о тех таинственных причинах, которые заставляют этого бедного Каве вести двойную игру? Здесь скорее всего просто мелочная месть со стороны Батистена, против которого его как раз и предостерегал добрый аббат... Все равно! Он еще шире раскроет глаза; отныне он будет остерегаться Каве, как уже остерегается Батистена; и, почем знать, быть может даже и Каролы...

«Вот, рассуждал он про себя, — последствие и в то же время доказательство первоначально зла, шатания святейшего престола: вместе с ним колеблется и все остальное. На кого полагаться, как не на папу? И, когда дрогнул этот краеугольный камень, на котором зиждется церковь, тогда уже ни в чем не может быть правды».

Амедей торопливо семенил ногами, направляясь к почте; он надеялся, что его ждут письма из дому, хорошие, которые укрепят в нем усталую веру. От легкого утреннего тумана и обильного света, в котором испарялись и развеществлялись предметы, у него еще больше кружилась голова; он шел, как во сне, сомневаясь в прочности почвы, стен, в действительном существовании встречных; и прежде всего сомневаясь в том, что он в Риме... Тогда он щипал себя, чтобы очнуться от дурного сна, чтобы очутиться снова в По, в кровати, близ Арники, которая уже встала и, как всегда, наклоняется над ним, чтобы спросить: «Хорошо ли вы спали, мой друг?»

Почтовый чиновник его узнал и сразу же вручил ему новое письмо от жены.

«...Я сейчас узнала от Валентины де Сен-При, — сообщила Арника, — что Жюлиус тоже в Риме, куда он приехал на съезд. Как мне радостно думать, что ты можешь с ним увидеться! К сожалению, Валентина не могла мне сказать его адреса. Она думает, что он остановился в Гранд-Отеле, но не уверена в этом. Она знает только, что в четверг утром ему назначен прием в Ватикане; он заранее списался с кардиналом Пацци, прося об аудиенции. Он был в Милане и виделся там с Антимом, который очень несчастен, потому что все еще не может получить того, что ему обещала церковь после его процесса; и вот Жюлиус хочет обратиться к нашему святому отцу и просить его о правосудии; потому что, конечно, папа ничего еще не знает. Он тебе расскажет о своем посещении, а ты сможешь его осведомить.

Я надеюсь, что ты как следует бережешься вредного воздуха и не слишком устаешь. Гастон навещает меня каждый день; нам очень недостает тебя. Как я буду рада, когда ты известишь о своем возвращении...» И т. д.

А на четвертой странице, наискось, нацарапанные карандашом, несколько слов от Блафафаса:

«Если будешь в Неаполе, узнай, как они делают дырку в макаронах. Я на пути к новому изобретению».

Звонкая радость наполнила сердце Амедея, хоть и смешанная с некоторым смущением: сегодня как раз и был четверг, день аудиенции. Он не решался отдавать белье в стирку, и оно подходило к концу. Во всяком случае, он боялся, что его может нехватить. Поэтому в это утро он надел вчерашний воротничок, который сразу же показался ему недостаточно чистым, как только он узнал, что может встретиться с Жюлиусом. Удовольствие от предстоящего свидания было этим отравлено. Заходить на виа деи Веккьерелли нечего было и думать, если он хотел застать свояка при выходе с аудиенции, а это казалось ему легче, чем явиться в Гранд-Отель. Он все-таки перевернул манжеты; а воротничок прикрыл фуляром, которым к тому же до известной степени маскировался его прыщ.

Но что значили все эти пустяки! Суть была в том, что Флериссуар чувствовал себя несказанно ободренным этим письмом и что мысль о соприкосновении с близким человеком, с прежней жизнью, сразу оттеснила чудовищные образы, порожденные воображением путешественника. Карола, аббат КАве, кардинал, — все это реяло перед ним, словно сон,

внезапно прерванный пением петуха. И с чего это он покинул По? Что за нелепая басня потревожила его счастье? Вот тоже! Папа — есть; и вот сейчас Жюлиус скажет: «Я его видел!» Папа есть, — и больше ничего не требуется. Не мог же господь допустить такой чудовищной подмены, которой он, Флериссуар, разумеется, не поверил бы, если бы не нелепое желание играть в этом деле какую-то роль.

Амедей торопливо семенил ногами; ему хотелось бежать. Он снова обретал уверенность, и все вокруг вновь обретало успокоительный вес, объем, естественное положение и правдоподобную подлинность. Свою соломенную шляпу он держал в руку; подойдя к собору, он был охвачен столь возвышенным восторгом, что сначала решил обойти кругом правый фонтан; и, проходя сквозь брызги водомета, увлажнявшие ему лоб, он улыбался радуге.

Вдруг он остановился. Там, поблизости, на подножии четвертого столпа колоннады, — Жюлиус ли это? Он был не вполне уверен, — настолько, при благоприятной внешности, у того был малопрстойный вид; граф де Баральюль повесил свой черный соломенный плоский цилиндр рядом с собой, на крючок палки, воткнутой между двух плит, и, забыв о величии места, закинув правую ногу на левое колено, словно пророк Сикстинской капеллы, положил на правое колено тетрадь; время от времени, быстро опуская на нее высоко поднятый карандаш, он принимался писать, столь безраздельно отдавшись внушениям столь повелительного вдохновения, что если бы Амедей прошелся перед ним кубарем, он бы не заметил.

Амедей приблизился, скромно обходя колонну. И, когда он уже собирался тронуть его за плечо:

— А в таком случае, не все ли нам равно! — воскликнул Жюлиус, занес эти слова в свою тетрадь, внизу страницы, затем сунул карандаш в карман и, быстро поднявшись с места, столкнулся носом к носу с Амедеем.

— Святые угодники, вы как сюда попали?

Амедей дрожа от волнения, заикался и ничего не мог выговорить; он судорожно сжимал обеими руками руку Жюлиуса. Тем временем Жюлиус его разглядывал:

— Ну, и вид же у вас, мой бедный друг!

Провидение не баловало Жюлиуса; из двух оставшихся у него свояков один превратился в пустосвята, другой был заморыш. За два с лишним года, что он не видал Амедея, тот успел состариться на двенадцать с лишним лет; щеки у него ввалились, кадык торчал; амарантовый фуляр делал его еще бледнее; он патетически вращал своими разноцветными глазами и был при этом только смешон; от вчерашней поездки у него осталась загадочная хрипота, и его голос долетал словно издалека. Поглощенный своею мыслью:

— Так вы его видели? — спросил он.

И, поглощенный своею:

— Кого это? — отвечал Жюлиус.

Это «кого это?» — отдалось в Амедее, как похоронный звон, как кощунство. Он скромно пояснил:

— Мне казалось, вы сейчас были в Ватикане.

— Да, действительно. Извините, я об этом и забыл... Если бы вы знали, что со мной делается! — его глаза сверкали; казалось, он сейчас выскочит из самого себя.

— О, я вас прошу, — взмолился Амедей, — мы поговорим об этом после; расскажите мне сначала о вашей аудиенции. Мне так терпится узнать...

— Вас это интересует?

— Скоро вы поймете — до какой степени. Говорите, говорите, я вас прошу!

— Ну, так вот! — начал Жюлиус, беря Флериссуара под руку и уводя его прочь от Святого Петра. — Вам, вероятно, известно, к какой нищете привело Антима его обращение; он напрасно

все еще ждет того, что ему обещала церковь в возмещение убытков, причиненных ему франк-масонами. Антима надули; это приходится признать... Мой дорогой друг, вы можете относиться ко всему этому, как вам угодно; я же смотрю на это, как на первоклассное жульничество; но, если бы не оно, я, быть может, не разобрался бы так ясно в том, что нас сейчас интересует и о чем мне хочется с вами поговорить. Вот: непоследовательная натура! Это звучит, как преувеличение... разумеется, под этой кажущейся непоследовательностью кроется некая более тонкая и скрытая последовательность; но суть в том, чтобы к действию такую натуру побуждали не просто соображения выгоды или, как обычно говорят, чтобы она действовала не по корыстным мотивам.

— Я не совсем вас понимаю. — заметил Амедей.

— Да, правда. Простите меня: я отклоняюсь от аудиенции. Итак, я решил взять дело Антима в свои руки... Ах, мой друг, если бы вы видели его миланскую квартиру! — «Вам нельзя здесь оставаться» — я ему сразу так сказал. И когда я подумаю об этой несчастной Веронике! А он стал совершеннейшим аскетом, капуцином; он не позволяет, чтобы его жалели; а главное, не позволяет обвинять духовенство! «Мой друг, — сказал я ему, — я допускаю, что высшее духовенство не виновато, но в таком случае оно ничего не знает. Позвольте мне его осведомить.»

— Мне казалось, что кардинал Пацци... — вставил Флериссуар.

— Да. Ничего не вышло. Вы понимаете, все эти важные сановники боятся ответственности. Чтобы взяться за это дело, нужен был человек со стороны; я, например. Потому что как удивительно делаются открытия! Я говорю о наиболее крупных: казалось бы — внезапное озарение, а на самом деле человек все время об этом думал. Так, меня уже давно беспокоила чрезмерная логичность моих действующих лиц и их в то же время недостаточная обусловленность.

— Я боюсь, — мягко заметил Амедей, — что вы опять отклоняетесь.

— Нисколько, — возразил Жюлиус, — это вы не следите за моей мыслью. Словом, я решил обратиться с ходатайством непосредственно к нашему святому отцу и сегодня утром я ему его понес.

— Так скажите скорее: вы его видели?

— Мой милый Амедей, если вы все время будете перебивать... Знаете, вы не можете себе представить, до чего трудно его увидеть.

— Я думаю! — сказал Амедей.

— То есть как?

— Я вам потом скажу.

— Во-первых, мне пришлось оставить всякую надежду вручить ему мое ходатайство. Я держал его в руке; это был благопристойнейший свиток бумаги: но уже во второй передней (или в третьей, я уж не помню) высокий верзила, в черном и красном, вежливо отобрал его у меня.

Амедей начал тихонько посмеиваться, как человек знающий, в чем дело и что тут есть забавного.

— В следующей передней у меня взяли шляпу и положили ее на стол. В пятой или шестой по счету, где я долго дождался в обществе двух дам и трех прелатов, какой-то, должно быть, камергер явился за мной и ввел меня в соседнюю залу, где, как только я очутился перед святым отцом (он сидел, насколько я мог заметить, на чем-то вроде трона, осененного чем-то вроде балдахина), он пригласил меня простереться ниц, что я и сделал; так что я ничего уже не видел.

— Но ведь не так же долго вы оставались склоненным и не так же низко держали голову, чтобы не...

— Мой дорогой Амедей, вам легко говорить; или вы не знаете, до чего нас ослепляет

благоговение? Но, не говоря уже о том, что я не смел поднять головы, некий мажордом, всякий раз как я заговаривал об Антимае, чем-то вроде линейки как бы постукивал меня по затылку, так что я снова склонялся.

— Но он-то с вами говорил?

— Да, о моей книге, причем сознался, что не читал ее.

— Мой дорогой Жюлиус, — начал Амедей после некоторого молчания, — то, что вы мне сейчас рассказали, чрезвычайно важно. Так, значит, вы его не видели; и из всего, что вы говорили, мне ясно, что увидеть его необычайно трудно. Ах, все это подтверждает, увы, самые страшные опасения! Жюлиус, теперь я должен вам открыть... но свернемте сюда: на этой людной улице...

Он затащил Жюлиуса в пустынный переулок: тому было скорее весело, и он не противился.

— То, что я должен вам поведать, настолько важно... Главное, не показывайте виду. Пусть кажется, будто мы беседуем о пустяках, и приготовьтесь услышать нечто ужасное: Жюлиус, мой друг, тот, кого вы сегодня видели...

— Вернее, кого я не видел.

— Вот именно... не настоящий.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что вы не могли видеть папу по той чудовищной причине, что... мне это известно из тайного и верного источника: настоящий папа похищен.

Это поразительное сообщение произвело на Жюлиуса самое неожиданное действие; он выпустил руку Амедея и, убегая от него прочь, вкось по переулку, кричал:

— Ну, нет! Ну, это уж, знаете, нет! Нет! нет! нет!

Затем, вернувшись к Амедею:

— Как! Мне, наконец, удастся, и с таким трудом, выкинуть все это их головы; я убеждаюсь, что здесь ждать нечего, не на что надеяться, не на что полагаться; что Антима надули, что всех нас надули, что все это попросту лавочка! И что остается только посмеяться... И что же: я выхожу на свободу и не успел я еще обрадоваться, как вы мне вдруг заявляете: Стоп! Тут вышла ошибка. Начинай сначала! — Ну, нет! Что нет, так нет. С меня хватит. Если это не настоящий, то тем хуже!

Флериссуар был ошеломлен.

— Но церковь, — говорил он и сокрушался, что хрипота мешает ему быть красноречивым: — Но если сама церковь обманута?

Жюлиус стал перед ним боком, наполовину преграждая ему путь, и несвойственным ему насмешливым и резким тоном:

— А вам ка-ко-е де-ло?

Тогда у Флериссуара явилось сомнение новое, неясное, ужасное сомнение, смутно растекавшееся в недрах его скорби: Жюлиус, сам Жюлиус, Жюлиус, с которым он говорит, Жюлиус, к которому так стремились его ожидания и его обманутая вера, этот Жюлиус — тоже не настоящий Жюлиус.

— Как! Это вы так говорите! Вы, на кого я надеялся! Вы, Жюлиус! Граф де Баральюль, чьи произведения...

— Не говорите мне о моих произведениях, прошу вас. С меня довольно того, что мне о них сказал сегодня ваш папа, настоящий он или фальшивый, безразлично! И я надеюсь, что благодаря моему открытию следующие будут лучше. И мне не терпится поговорить с вами о серьезных вещах. Мы позавтракаем вместе, не правда ли?

— С удовольствием; но долго я не могу быть с вами. Сегодня вечером меня ждут в

Неаполе... да, по делам, о которых я вам расскажу. Надеюсь, вы меня ведете не в Гранд-Отель?

— Нет, мы пойдем в кафе Колонна.

Жюлиусу тоже не очень-то хотелось показываться в Гранд-Отеле в обществе такого огрызка, как Флериссуар; а тот, чувствуя себя бледным и невзрачным, страдал уже от одного яркого света, когда свояк усадил его за ресторанный стол против себя, под своим испытующим взглядом. Добро бы еще этот взгляд искал только его взгляда; так нет, он чувствовал его направленным на край амарантового фуляра, на то ужасное место, где его подбородок процвел подозрительным прыщом и которое он ощущал открытым. И пока лакей подавал закуски:

— Вам бы следовало брать серные ванны, — сказал Баральюль.

— Это не то, что вы думаете, — оправдывался Флериссуар.

— Тем лучше, — отвечал Баральюль, который, впрочем, ничего и не думал. — Я это вам так, между прочим, посоветовал.

Затем, усевшись глубже, он начал профессорским тоном:

— Так вот, дорогой Амедей: я нахожу, что после Ларошфуко, вслед за ним, все мы заехали не туда; что человек не всегда руководствуется выгодой; что бывают поступки бескорыстные...

— Я надеюсь, — чистосердечно перебил его Флериссуар.

— Не соглашайтесь со мной так быстро, прошу вас. Под «бескорыстным» я разумею: бесцельный. И я говорю, что зло, — то, что называют злом, может быть таким же бесцельным, как и добро.

— Но, в таком случае, зачем оно?

— В том-то и дело! Это — роскошь, мотовство, игра. Ибо я считаю, что самые бескорыстные души не суть непременно самые лучшие — в церковном смысле слова; напротив, с церковной точки зрения, совершеннее всех та душа, которая всех лучше подводит свои счета.

— И чувствует себя всегда в долгу перед богом, — умиленно добавил Флериссуар, стараясь быть на высоте.

Жюлиуса видимо раздражали замечания свояка; он находил их нелепыми.

— И, конечно, пренебрежение тем, что может быть полезно, — продолжал он, — является признаком известного душевного аристократизма... Итак, если душа освободилась от катехизиса, от самолюбования, от расчетливости, может ли она совершенно перестать вести какие бы то ни было счета?

Баральюль ожидал согласия; но:

— Нет, нет! Тысячу раз нет: не может! — горячо воскликнул Флериссуар и вдруг, испугавшись собственного громкого голоса, нагнулся к Баральюлю: — Будем говорить тише; нас слышно.

— Ну, так что? Кому может быть интересно то, о чем мы говорим?

— Ах, мой друг, я вижу, вы не знаете здешних людей. Я так начинаю узнавать их ближе. За эти четыре дня, что я среди них живу, я не вылезаю из приключений, которые против воли, клянусь вам, привили мне осторожность, совершенно мне несвойственную. Здесь за человеком гонятся по пятам.

— Вам просто кажется.

— Если бы так! И если бы все это существовало только в моем воображении. Но что вы хотите? Когда ложь вытесняет истину, то истине остается скрываться. Выполняя миссию, о которой я вам сейчас скажу, очутившись между Ложей и Братством Иисусовым, я погиб. Я всем кажусь подозрительным; и мне все кажется подозрительным. А если я вам скажу, мой друг, что не далее, как сегодня, когда на мою муку вы отвечали насмешками, я не знал, подлинный ли Жюлиус передо мной, или же скорее какая-то подделка под вас... Если я вам скажу, что сегодня утром, перед нашей встречей, я сомневался в собственной моей реальности, сомневался,

действительно ли я здесь, в Риме, а не просто вижу сон и вот сейчас проснусь в По, спокойно лежа рядом с Арникой, в обычной обстановке!

— Мой друг, это у вас был жар.

Флериссуар схватил его за руку и, патетическим голосом:

— Жар! Вы правы: у меня жар. Жар, от которого нет исцеления. Жар, который, я надеялся, — сознаюсь, — охватит и вас, когда вы услышите то, что я вам поведал, да, которым я надеялся, — сознаюсь, — заразить и вас, чтобы мы вместе горели, мой брат... Но нет! Теперь я вижу, как одиноко уходит вдаль темная стезя, по которой я иду, по которой я должен идти; а то, что вы мне сказали, даже обязывает меня к этому... Так, значит, Жюлиус, это правда? Так, значит, его никто не видит? Его нельзя увидеть?

— Мой друг, — начал Жюлиус, высвобождая руку из руки разволновавшегося Флериссуара и кладя ему в свой черед ладонь на рукав: — Мой друг, я вам сделаю одно признание, на которое было не решался: очутившись перед святым отцом, я... я впал в рассеянность.

— В рассеянность! — повторил оторопевший Флериссуар.

— Да, я вдруг спохватился, что думаю о другом.

— Верить ли мне тому, что вы говорите?

— Потому что как раз в эту минуту меня осенило мое открытие. Но ведь если, — говорил я себе, продолжая свои первоначальные размышления, — но ведь если допустить бесцельность, то дурной поступок, то преступление становится невменяемо, и совершивший его становится неуловим.

— Как! Вы опять об этом! — безнадежно вздохнул Амедей.

— Ибо мотив преступления, его побудительная причина и есть та рукоять, за которую можно схватить преступника. И если, как будет думать судья: «Is fecit cui prodest»... [\[16\]](#) — ведь вы юрист, не правда ли?

— Простите, нет, — отвечал Амедей, у которого пот выступал на лбу.

Но тут их диалог внезапно оборвался: ресторанный скороход подал на тарелке конверт с именем Флериссуара. Тот в недоумении вскрыл конверт и на вложенном в него листке прочел следующее:

«Вам нельзя терять ни минуты. Поезд в Неаполь отходит в три часа. Попросите мсье де Баральюля сходить с Вами в Промышленный кредит, где его знают и где он может удостоверить вашу личность.

Каве»

— Что? Я вам говорил! — произнес вполголоса Амедей, чувствуя скорее облегчение.

— Это, действительно, довольно странно. Откуда могут знать мое имя? И то, что у меня есть дела Промышленном кредите?

— Я вам говорю, эти люди знают решительно все.

— Мне не нравится тон этой записки. Тот, кто ее писал, мог бы хоть извиниться, что прерывает нас.

— К чему? Он же знает, что моя миссия важнее всего... Речь идет о получении по чеку... Нет, здесь невозможно говорить об этом, — вы сами видите, за нами следят. — Затем, посмотрев на часы: — В самом деле, мы только успеем.

Он позвонил лакею.

— Бросьте, бросьте! — сказал Жюлиус. — Это я вас пригласил. Кредит поблизости; у крайнем случае, возьмем извозчика. Не волнуйтесь так... Да, я хотел вам сказать: если вы сегодня поедете в Неаполь, воспользуйтесь этим круговым билетом. Он на мое имя; но это все равно (Жюлиус любил оказывать услуги). Я купил его в Париже довольно опрометчиво, потому

что рассчитывал поехать южнее. Но мне помешал этот съезд. Сколько времени вы думаете там пробыть?

— Как можно меньше. Я надеюсь уже завтра быть обратно.

— В таком случае, я жду вас к обеду.

В Промышленном кредите, благодаря удочтоверению графа де Баральюля, Флериссуару беспрепятственно выдали по чеку шесть ассигнаций, которые он положил во внутренний карман пиджака. На улице он рассказал свояку, не вполне вразумительно, историю с чеком, кардиналом и аббатом; Баральюль, взявшийся проводить его до вокзала, слушал рассеянно.

Флериссуар зашел по дороге в бельевого магазин купить воротничок, но не надел его, не желая задерживать Жюлиуса, который остался ждать на тротуаре.

— Вы едете без чемодана? — спросил тот, когда Амедей его снова настиг.

Флериссуар, конечно, охотно зашел бы за своим пледом, за своими туалетными и ночными принадлежностями; но сознаться Баральюлю в виа деи Веккьерелли!..

— О, на одну ночь!.. — быстро ответил он. — Впрочем, мы бы и не успели зайти ко мне в отель.

— Кстати, где вы остановились?

— За Колизеем, — отвечал тот наугад.

Это было все равно, как если бы он сказал: «Под мостом».

Жюлиус опять посмотрел на него.

— Какой вы странный человек!

Неужели он в самом деле кажется таким странным? Флериссуар вытер лоб. Они молча прошли перед вокзалом, которого, наконец, достигли.

— Ну, нам пора расставаться, — сказал Баральюль, подавая ему руку.

— Вы не... не проехали бы со мной? — робко пролепетал Флериссуар. — Я сам не знаю почему, мне что-то страшно ехать одному...

— Вы же доехали до Рима. Что может с вами случиться? Простите, что я покидаю вас перед вокзалом, но вид уходящего поезда вызывает во мне всякий раз невыразимую тоску. До свидания! Счастливого пути! И принесите мне завтра в Гранд-Отель мой обратный билет до Парижа.

— *Есть только одно средство! Только одно может избавить нас от самих себя!..*

— *Да, строго говоря, вопрос не в том, как избавиться, а в том, как жить.*

Джозеф Конрад. «Лорд Джим» (стр.226).

Когда Лафкадио вступил, при посредстве Жюлиуса и при содействии нотариуса, во владение сорока тысячами франков годового дохода, которые ему оставил покойный граф Жюст-Аженор де Баральюль, он первым делом решил ничем этого не обнаруживать.

«Быть может, на золотой посуде, сказал он себе, — но ты будешь есть те же блюда».

Он не считался с тем, или, быть может, еще не знал, что самый вкус этих блюд теперь для него изменится. Или, во всяком случае, так как ему столько же нравилось бороться с голодом, сколько уступать жадности, теперь, когда его перестала теснить нужда, это сопротивление ослабело. Скажем без образов: аристократ по природе, прежде он не допускал, чтобы необходимость могла принудить его к какому-нибудь жесту, который теперь он готов был себе позволить, из шалости, ради игры, из желания предпочесть удовольствие выгоде.

Исполняя желание графа, он не надел траура. Досадное разочарование ждало его у поставщиков маркиза де Жевра, его последнего дяди, когда он явился обновить свой гардероб. Едва он сослался на маркиза, портной достал несколько счетов, которые тот оставил неоплаченными. Лафкадио терпеть не мог плутовства; он тут же сделал вид, будто именно и зашел погасить эти счета, а за новое платье заплатил наличными. То же случилось и у сапожника. Что же касается белья, то Лафкадио счел более благоразумным заказать его в другом месте.

«Если бы я знал адрес дядюшки де Жевра! Я бы доставил себе удовольствие послать ему его оплаченные счета, — размышлял Лафкадио. — Я бы заслужил его презрение; но я — Баральюль, и отныне, мошенник маркиз, я тебя высаживаю из моего сердца».

Ничто не привязывало его ни к Парижу, ни к какому-либо иному месту; путешествуя по Италии короткими переходами, он направлялся в Бриндизи, где собирался сесть на какой-нибудь пароход, чтобы плыть на Яву.

Сидя один в вагоне, уносившем его из Рима, он, несмотря на жару, положил на колени мягкий плед чайного цвета, на котором ему приятно было рассматривать свои руки в пепельных перчатках. Сквозь нежную и пушистую ткань костюма, он всеми порами вдыхал наслаждение; шее его было легко в довольно высоком, но только слегка накрахмаленном воротничке, откуда на складки сорочки ниспадал тонкий, как ящерица, бронзового цвета фуляровый галстук. Он чувствовал себя хорошо в своей коже, в своей одежде, в своих башмаках, тонких мокасинах из той же замши, что и перчатки; в этой мягкой тюрьме его ступня выпрямлялась, сжималась, жила. Пуховая шляпа, опущенная на глаза, отделяла его от пейзажа; он курил можжевелевую трубочку и предоставлял свои мысли их естественному течению. Он думал:

«Старушка, с белым облачком над головой, на которое она мне указывала, говоря: „Нет, сегодня-то еще дождя не будет!..“ — эта старушка, у которой я взял ее мешок и взвалил его на спину (он, из прихоти, перевалил в четыре дня через Апеннины, между Болоньей и Флоренцией, и ночевал в Ковильяйо) и которую я поцеловал, взобравшись на гору... относилась к тому, что священник в Ковильяйо называл: добрые дела. Я с таким же успехом мог бы ее задушить — недрогнувшей рукой, когда дотронулся до этой противной, сморщенной кожи... Ах, как она гладила ворот моего пиджака, счищая с него пыль и приговаривая: „Figlio mio! carino!..“^[17] Откуда у меня взялась эта глубокая радость, когда, затем, еще весь потный, я улегся на мох, даже не куря, под этим высоким каштановым деревом? Мне казалось, я способен обнять все человечество; или задушить его, быть может... Какой пустяк — человеческая жизнь! И как бы я легко рискнул собственной жизнью, если бы только представился случай совершить какой-нибудь действительно дерзкий подвиг!.. Но не могу же я, однако, сделаться альпинистом или

авиатором... Чтобы мне посоветовал этот заточник Жюлиус?.. Жаль, что он такой тюфяк! Занятно было бы иметь брата.

Бедный Жюлиус! Столько народа пишет, и так мало народа читает! Это факт: читают все меньше и меньше... если судить по мне, как сказал кто-то. Это кончится катастрофой, чудесной катастрофой, полной ужаса! Книги вышвырнут за борт; и будет чудом, если лучшая из них не ляжет на дне рядом с самой плохой.

А любопытно было бы знать, что бы сказала старушка, если бы я начал ее душить... Человек рисует себе, „что случилось бы, если“, но всегда остается маленькая щель, сквозь которую проникает непредвиденное. Ничто не совершается точь в точь так, как можно было бы ожидать... Вот именно поэтому я и люблю действовать... Человек так мало действует... „Да будет все, что может быть!“ — так я объясняю себе Творение. Влюбленность в то, что могло бы быть... Будь я государством, я бы велел посадить себя в тюрьму.

Не очень-то ошеломительной оказалась корреспонденция этого мсье Гаспара Фламана, которую я востребовал в Болонье, как предназначенную мне. Ничего такого, ради чего стоило бы ему ее отослать.

Боже, как мало встречаешь людей, у которых хотелось бы порыться в чемоданах!.. И, несмотря на это, как мало таких, у которых нельзя было вызвать каким-нибудь словом или жестом какой-нибудь забавной реакции!.. Удивительная коллекция марионеток; но веревочки слишком уж заметны, честное слово! На улице только и видишь, что олухов и обормотов. Пристало ли порядочному человеку, я вас спрашиваю, Лафкадио, принимать всерьез этот балаган?.. Довольно! Едем, пора! Прочь отсюда, к новому миру; покинем Европу, запечатлев на берегу след нашей босой ступни! Если где-нибудь на Борнео, в глубине лесов, еще остался какой-нибудь запоздалый питекантроп, мы взвесим шансы возможного человечества!..

Мне бы хотелось повидать Протоса. Он, должно быть, перебрался в Америку. По его словам, он ценит только чикагских варваров... Эти волки меня не особенно прельщают; я породы кошачьей. Не стоит об этом.

Этот добряк священник из Ковильяйо не проявлял особой склонности к тому, чтобы развращать мальчика, с которым он беседовал. По-видимому, он был ему поручен. Я бы охотно взял его в товарищи — не священника, разумеется, а мальчугана... Какими чудесными глазами он на меня смотрел! Они с таким же беспокойством искали моего взгляда, как и мой взгляд его; но я сразу же отводил свой взгляд... Он был моложе меня лет на пять. Да, лет четырнадцать, шестнадцать, самое большее... Чем я был в его годы? Жадный „stripling“, ^[18] с которым я бы не прочь встретиться и сейчас; мне кажется, я бы очень себе понравился... Феби первое время смущало, что он мною увлечен; он хорошо сделал, что признался в этом моей матери; после этого у него стало легче на душе. Но как меня злила эта его сдержанность!.. Когда позже, на Ауресе, я это ему рассказал в палатке, как мы смеялись!.. Я бы рад с ним повидаться еще раз; жаль, что он умер. Не стоит об этом.

По правде сказать, мне хотелось, чтобы священнику я не понравился. Я старался сказать ему что-нибудь неприятное; и ничего не находил, кроме самого милого... Как мне трудно не казаться обворожительным! Но не могу же я чернить лицо ореховой шелухой, как мне советовала Карола; или начать есть чеснок... Ах, не будем больше думать об этой бедной девушке! Самыми сомнительными своими удовольствиями я обязан ей... О!!! откуда взялся этот странный старик?»

В выдвигающую дверь купе вошел Амедей Флериссуар.

Флериссуар ехал один в своем купе, до станции Фрозиноне. На этой остановке в вагон вошел средних лет итальянец, сел неподалеку и уставился на него с таким мрачным видом, что Флериссуар тотчас же предпочел удрать.

В соседнем купе юная прелесть Лафкадио его, напротив, привлекла:

«Ах, какой приятный юноша! Совсем еще мальчик! — подумал он. — Должно быть, едет на каникулы. Как он мило одет! Его взгляд безгрешен. Как хорошо будет отдохнуть от подозрительности! Если он знает по-французски, я с ним охотно поговорю...»

Он сел напротив, у окна. Лафкадио приподнял край шляпы и стал разглядывать Амедея унылым и, казалось, равнодушным взглядом.

«Что общего между этим чучелом и мной? — думал он. — Он, по-видимому воображает, что бог весть, как хитер. Чего это он мне так улыбается? Уж не думает ли, что я его поцелую? Неужели есть женщины, которые могут ласкать стариков?.. Он, должно быть, порядком бы удивился, если бы узнал, что я умею бегло читать по-писаному и по-печатному, вверх ногами и на свет, в зеркале и с пропускной бумаги; три месяца изучения и два года практики — и только из любви к искусству. Кадио, милый мой, вот задача: зацепиться за эту судьбу. Но как? Ага: предложу ему лепешку кашу. Откликнется он или нет, во всяком случае мы увидим, на каком языке».

— Grazio! Grazio! — отказался Флериссуар.

«С этим тапиром ничего не поделаешь. Будем спать!» — говорит себе Лафкадио и, надвигая шляпу на глаза, старается увидеть во сне одно свое детское воспоминание.

Он видит себя снова в те времена, когда его еще звали Кадио, в уединенном карпатском замке, в котором он прожил с матерью два лета, в обществе итальянца Бальди и князя Владимира Белковского. Его комната — в конце коридора; это первый год, что он спит отдельно от матери... Медная дверная ручка, в виде львиной головы, укреплена толстым гвоздем... О, до чего отчетливо ему помнятся ощущения!.. Однажды его будят глубокой ночью, и ему кажется, что это он все еще во сне видит у изголовья дядю Владимира, еще более громадного, чем всегда, похожего на кошмар, в широком кафтане ржавого цвета, с опущенными книзу усами, в причудливом ночном колпаке, торчащем ввысь, как персидская шапка, и удлиняющем его до бесконечности. В руке у него потайной фонарь, который он ставит на стол, возле кровати, рядом с часами Кадио, слегка при этом отодвигая мешок с шариками. Первая мысль, которая приходит Кадио, — это, что его мать умерла или больна; он хочет спросить Белковского, но тот подносит палец к губам и знаком велит ему встать. Мальчуган торопливо надевает купальный халат, который дядя снял со спинки стула и подает ему, и все это — нахмутив брови и с видом, далеким от всяких шуток. Но Кадио так верит Влади, что ему не страшно ни на секунду; он надевает туфли и идет за ним, крайне заинтригованный его поведением и, как всегда, в чаянии чего-то необыкновенного.

Они выходят в коридор; Владимир идет впереди, величаво, таинственно, держа далеко перед собой фонарь; можно подумать, что они совершают какой-то обряд или участвуют в каком-то шествии; Кадио пошатывается на ногах, потому что еще пьян от сна; но любопытство быстро прочищает ему голову. У двери матери они останавливаются, прислушиваются; все тихо, дом спит. Выйдя на площадку лестницы, они слышат храп слуги, комната которого рядом с дверью на чердак. Они спускаются вниз. Влади неслышно крадется по ступеням; при малейшем скрипе он оборачивается с таким свирепым видом, что Кадио еле удерживается от смеха. Он указывает на одну ступень и делает знак, что через нее надо перешагнуть, с таким серьезным видом, словно это очень опасное дело. Кадио не портит себе удовольствия, не задается вопросом, действительно ли необходима такая осторожность, да и вообще ничего не старается себе объяснить; он повинуется и, держась за перила, перешагивает через ступень... Влади до такой невероятной степени его забавляет, что он пошел бы за ним в огонь.

Дойдя до низу, они присаживаются на вторую ступеньку, чтобы перевести дух; Влади покачивает головой и тихонько посапывает носом, как бы говоря: «Ну, и повезло же нам!» Они

идут дальше. Какие меры предосторожности перед дверью в гостиную! Фонарь, который теперь в руке у Кадио, так странно освещает комнату, что мальчуган с трудом ее узнает; она кажется ему безмерной; сквозь ставень пробивается лунный луч; все напоено сверхъестественной тишиной; словно пруд, в который тайно закидывают невод; все предметы он узнает, каждый на своем месте, но впервые постигает их странность.

Влади подходит к роялю, приоткрывает его, тихо трогает несколько клавиш, которые чуть слышно откликаются. Вдруг крышка выскальзывает и падает со страшным грохотом (от одного воспоминания Лафкадио вздрагивает). Влади кидается к фонарю и закрывает его, затем падает в кресло; Кадио залезает под стол; оба они долго остаются в темноте, не шевелясь, прислушиваясь... Ничего; ничто не шелохнулось в доме; где-то далеко собака лает на луну. Тогда, осторожно, медленно, Влади опять приоткрывает фонарь.

А в столовой, с каким видом он поворачивает ключ в буфете! Мальчуган знает, что все это — игра, но дядя и сам увлечен. Он сопит носом, словно вынюхивая, где лучше пахнет; берет бутылку токайского; наливает две рюмки, чтобы макать бисквиты; приложив палец к губам, приглашает чокнуться; хрусталь еле слышно звенит... Когда ночное угощение окончено, Влади наводит порядок, идет с Кадио в кухню всполоснуть рюмки, вытирает их, закупоривает бутылку, закрывает коробку с бисквитами, тщательно смахивает крошки, смотрит еще раз, все ли в буфете на месте... шито-крыто, концы в воду.

Влади провожает Кадио до его комнаты и расстается с ним, отвесив глубокий поклон. Кадио снова засыпает и на утро не будет знать, не приснилось ли ему все это.

Странная игра для ребенка! Что бы сказал Жюлиус?..

Лафкадио, хоть глаза у него и закрыты, не спит; ему не удается уснуть.

«Старичок, которого я чувствую напротив, думает, что я сплю, — размышляет он. — Если я приоткрою глаза, я увижу, что он на меня смотрит. Протос считал, что особенно трудно притворяться спящим и в то же время наблюдать; он утверждал, что всегда распознает напускной сон по легкому дрожанию век... с которым я вот сейчас борюсь. Протос и тот бы обманулся...»

Солнце тем временем зашло; уже слабели последние отблески его славы, на которые взволнованно взирал Флериссуар. Вдруг на сводчатом потолке вагона вспыхнуло электричество; слишком грубый свет рядом с этими нежными сумерками; и, боясь также, что этот свет может обеспокоить соседа, Флериссуар повернул выключатель; это не дало полной тьмы, а отвело ток от потолочной лампы к лазеревому ночнику. Флериссуару казалось, что и этот синий колпачок светит слишком ярко; он еще раз повернул рукоятку; ночник погас, но тотчас же зажглись два настенных бра, еще более неприятные, чем верхний свет; еще поворот, — и опять ночник; на этом он остановился.

«Скоро ли он перестанет возиться со светом? — нетерпеливо думал Лафкадио. — Что он делает теперь? (Нет, не хочу подымать веки!) Он стоит... Уж не привлекает ли его мой чемодан? Bravo! Он удостоверился, что чемодан не заперт. Стоило, чтобы сразу же потерять ключ, ставить в Милане сложный затвор, который в Болонье пришлось отпирать отмычкой! Висячий замок, тот хоть можно заменить другим... Что такое: он снимает пиджак? Нет, все-таки посмотрим».

Не обращая внимания на чемодан Лафкадио, Флериссуар, занятый своим новым воротничком, снял пиджак, чтобы удобнее было его пристегнуть; но накрахмаленный мадаполам, твердый, как картон, не поддавался никаким усилиям.

«У него несчастный вид, — продолжал Лафкадио про себя. — У него, наверное, фистула или какой-нибудь тайный недуг. Помочь ему? Он один не справится...»

Нет, все-таки! Воротничок, в конце концов, пропустил запонку. Тогда Флериссуар взял с

сидения свой галстук, лежавший рядом со шляпой, пиджаком и манжетами, и, подойдя к окну, пытался, как Нарцисс над водой, отличить в стекле свое отражение от пейзажа.

«Ему плохо видно».

Лафкадио прибавил света. Поезд шел вдоль откоса, который был виден за окном, озаряемый светом, падающим из каждого купе; получался ряд светлых квадратов, плясавших вдоль пути и поочередно искажавшихся на неровностях почвы. Посередине одного из них плясала смешная тень Флериссуара; остальные были пусты.

«Кто увидит? — думал Лафкадио. — Здесь, совсем рядом, у меня под рукой, этот двойной затвор, который мне ничего не стоит открыть; это дверь, которая вдруг подается, и он рухнет вперед; достаточно будет легкого толчка, — он упадет в темноту, как сноп: даже крика не будет слышно... А завтра — в море, к островам!.. Кто узнает?..»

Галстук был надет, готовый продолговатый бант; теперь Флериссуар взял манжету и прилаживал ее к правому рукаву; при этом он рассматривал над тем местом, где раньше сидел, фотографический снимок (один из четырех, украшавших купе) какого-то приморского дворца.

«Ничем не вызванное преступление, — продолжал Лафкадио: — вот задача для полиции! Впрочем, на этом проклятом откосе всякий может увидеть из соседнего купе, как открывается дверь и кувыркается китайская тень. Хорошо еще, что шторы в коридор задернуты... Меня не столько интересуют события, сколько я сам. Иной считает себя способным на что угодно, а когда нужно действовать, отступает... Одно дело — воображение, другое — действительность!.. И отставить уже нельзя, как в шахматах. Но, если предвидеть все, игра теряет всякий интерес!.. Между воображением и... Что это? Никак, откос кончился? Мы, кажется, на мосту: река...»

На почерневшем стекле отражения стали явственнее; Флериссуар нагнулся, чтобы поправить галстук.

«Здесь, у меня в руке, этот двойной затвор (а он не видит и смотрит прямо перед собой) — действует, ей богу, даже легче, чем можно было думать. Если мне удастся сосчитать до двенадцати, не торопясь, прежде чем за окном мелькнет какой-нибудь огонь, — тапир спасен. Я начинаю: один? два? три? четыре? (медленно! медленно!) пять? шесть? семь? восемь? девять... Десять, огонь!..»

Флериссуар даже не вскрикнул. Выталкиваемый Лафкадио и видя вдруг разверзшуюся перед ним пропасть, он, чтобы удержаться, широко взмахнул руками, уцепился левой за гладкую дверную раму, а правую, полуобернувшись, откинул далеко назад через голову Лафкадио, отчего вторая манжета, которую он как раз надевал, полетела под диван, в другой конец купе.

Лафкадио почувствовал, как его хватают за затылок страшные когти, нагнул голову и толкнул опять, еще нетерпеливее; ногти царапнули его по шее; Флериссуар успел лишь поймать пуховую шляпу, безнадежно ухватился за нее и упал вместе с ней.

«Теперь — хладнокровие! — сказал Лафкадио. Не будем хлопать дверцей: рядом могут услышать».

Он потянул дверцу к себе, против ветра, с усилием, затем тихо запер ее.

«Он мне оставил свою гнусную соломенную шляпу, которую я чуть был не выпихнул ногой ему вдогонку; но у него осталась моя шляпа, и этого ему хватит. Как хорошо я сделал, что снял с нее инициалы!.. Но на кожаном ободке имеется марка магазина, а там не каждый день заказывают пуховые шляпы... Нечего делать, дело сделано... Думать, что это несчастный случай... Нет, ведь дверцу я снова запер... Остановить поезд?.. Полно, полно, Кадио! Никаких поправок: все вышло так, как ты сам хотел.

Доказательство, что я вполне владею собой: я прежде всего спокойно рассмотрю, что изображает эта фотография, которую созерцал старик... Miramar! Ни малейшего желания побывать там... Здесь душно».

Он открыл окно.

«Эта скотина меня оцарапала. До крови... Мне было очень больно. Надо смочить водой; уборная в конце коридора, налево. Захватим еще платок».

Он достал с сетки чемодан и раскрыл его на диване, там, где перед тем сидел.

«Если я кого-нибудь встречу в коридоре, — спокойствие... Нет, сердце больше не бьется. Идем!.. Ах, его пиджак; я могу пронести его под своим. В кармане — какие-то бумаги: будет, чем заняться остальную часть пути».

Это был жалкий, потертый пиджачок, лакричного цвета, из жиденького жесткого, дешевого сукна, который ему было немного противно брать в руки; запершись в тесной уборной, Лафкадио повесил его на крюк; затем, нагнувшись над умывальником, принялся разглядывать себя в зеркало.

Его шея, в двух местах, была довольно гадко исцарапана; узкая красная ниточка шла, прерываясь, от затылка влево и кончалась под ухом; другая, короче, откровенная ссадина, двумя сантиметрами выше, подымалась прямо к уху и упиралась в слегка надорванную мочку. Шла кровь; но ее было меньше, чем он ожидал; зато боль, которой он сначала не ощущал, усилилась. Он обмакнул платок в умывальный таз, остановил кровь, затем выстирал платок.

«Даже воротничок не запачкается, — подумал он, приводя себя в порядок. — Все отлично».

Он уже собирался итти, как вдруг раздался свиток паровоза; за матовым окном клозета прошла вереница огней. Это была Капуя. Сойти на этой станции, такой близкой от места происшествия, и побежать в темноте за своей шляпой... Эта мысль блеснула в нем ослепительно. Он очень жалел свою шляпу, мягкую, легкую, шелковистую, теплую и в то же время прохладную, не мнущуюся, такую скромно изящную. Но он никогда не повиновался слепо своим желаниям и не любил уступать даже самому себе. Но больше всего он ненавидел нерешительность и уже много лет хранил, как фетиш, игральную кость от трик-трака,

подаренного ему Бальди; он всегда носил ее с собой; она была при нем, в жилетном кармане:

«Если выпадет шесть, — сказал он, доставая кость, — я схожу!»

Выпало пять.

«Я все-таки схожу. Живо! Пиджак утопленника!.. А теперь мой чемодан...»

Он побежал к своему купе.

Ах, сколь, перед странностью события, кажется ненужным восклицание! Чем поразительнее самый случай, тем проще будет мой рассказ. Поэтому я скажу прямо: когда Лафкадио вошел в купе за своим чемоданом, чемодана там не оказалось.

Он подумал было, не ошибся ли он, вернулся в коридор... Да нет же! Это то самое купе. Вот вид Мирамара... Тогда как же так?.. Он бросился к окну, и ему показалось, что он грезит: на платформе, еще недалеко от вагона, его чемодан спокойно удалялся, в обществе рослого малого, который неторопливо его уносил.

Лафкадио хотел кинуться вдогонку; когда он отворял дверь, к его ногам упал лакричный пиджак.

«Вот чорт! Еще немного, и я бы попался!.. Но, во всяком случае, этот шутник шел бы немного скорее, если бы думал, что я могу за ним погнаться. Или он видел?..»

Пока он стоял, наклонившись вперед, по щеке у него скатилась капля крови.

«Значит, обойдемся и без чемодана! Кость была права: мне не следует здесь сходить».

Он захлопнул дверь и сел.

«В чемодане нет никаких бумаг, и белье не мечено; чем я рискую... Все равно: как можно скорее на пароход; быть может, это будет не так занятно; но зато гораздо благоразумнее».

Между тем поезд тронулся.

«Мне не столько жаль чемодана... сколько шляпы, которую мне ужасно хотелось бы выловить. Забудем о ней».

Он набил трубку, закурил, затем, опустив руку во внутренний карман другого пиджака, вынул оттуда зараз письмо Арники, книжечку агентства Кука и плотный конверт, который он и открыл.

«Три, четыре, пять, шесть тысячных билетов! Неинтересно для порядочных людей».

Он снова положил билеты в конверт, а конверт обратно в карман пиджака. Но когда вслед затем Лафкадио раскрыл куковскую книжечку, у него потемнело в глазах. На первом листке значилось имя: «Жюлиус де Баральюль».

«Иль я схожу с ума? — подумал он. — Причем тут Жюлиус?.. Украденный билет?.. Нет, не может быть. Очевидно, билет ссуженный. Вот так чорт! Я, чего доброго, заварил кашу; у этих стариков связи получше, чем можно думать...»

Затем, дрожа от любопытства, он раскрыл письмо Арники. Все это казалось слишком странным; ему было трудно сосредоточить внимание; он плохо разбирал, в каком родстве или в каких отношениях Жюлиус и этот старик, но одно, во всяком случае, он понял: Жюлиус в Риме. Он сразу же решил: его обуяло нетерпение повидать брата, неудержимое желание посмотреть, как отразится это событие в его спокойном и логическом уме.

«Решено! Я ночую в Неаполе; получаю обратно свой сундук и завтра с первым же поездом возвращаюсь в Рим. Разумеется, это будет не так благоразумно, но, пожалуй, немного занятнее».

В Неаполе Лафкадио остановился в одной из ближайших к вокзалу гостиниц; сундук он взял с собой, потому что на путешественников, у которых нет багажа, смотрят косо, а он старался не привлекать к себе внимания; затем сбегал купить кое-какие необходимые туалетные принадлежности и шляпу взамен отвратительного канотье (к тому же слишком тесного), который ему оставил Флериссуар. Он хотел также купить револьвер, но должен был отложить эту покупку до следующего дня; магазины уже закрывались.

Поезд, с которым он решил ехать утром, отходил рано; в Рим прибывали к завтраку... Он хотел явиться к Жюлиусу только после того, как газеты заговорят о «преступлении». Преступление! Это слово казалось ему каким-то странным, и уж совсем неподходящим по отношению к нему самому слово преступник. Ему больше нравилось: «авантюрист», слово такое же мягкое, как его пуховая шляпа, и загибавшееся, как угодно.

В утренних газетах еще ничего не говорилось про «авантюру». Он с нетерпением ждал вечерних, потому что ему очень хотелось поскорее увидеть Жюлиуса и знать, что партия начата; пока же, как ребенок, который играет в прятки и которому, конечно, не хочется, чтобы его искали, он скучал. Это было неопределенное состояние, совершенно для него новое; и люди, попадавшие ему на улице, казались ему какими-то особенно серыми, неприятными и некрасивыми.

Когда настал вечер, он купил у газетчика на Корсо номер «Corriere»; затем вошел в ресторан, но из своего рода удалства и словно чтобы обострить желание, заставил себя сперва пообедать, положив сложенную газету рядом с собой на стол; затем снова вышел на Корсо, остановился у освещенной витрины, развернул газету и на второй странице увидел, в отделе происшествий, такой заголовок: ПРЕСТУПЛЕНИЕ, САМОУБИЙСТВО... ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Затем прочел следующие строки, которые я привожу в переводе:

«На станции Неаполь, в поезде, прибывшем из Рима, железнодорожные служащие нашли в багажной сетке купе первого класса пиджак темного цвета. Во внутреннем кармане этого пиджака оказался незаклеенный желтый конверт с шестью тысячефранковыми билетами; никаких документов, по которым можно было бы установить личность владельца, не обнаружено. Если здесь имело место преступление, то трудно объяснить, как могла столь крупная сумма быть оставлена в одежде убитого; во всяком случае это указывает на то, что преступление совершено не с целью грабежа.

Следов какой-либо борьбы в купе не обнаружено; но под диваном найдена манжета с двойной запонкой, изображающей две кошачьи головы, соединенные серебряной позолоченной цепочкой и вырезанных из полупрозрачного кварца, так называемого облачного агата с отливом, из той породы, которая известна в ювелирном деле под именем лунного камня.

Вдоль пути ведутся усиленные поиски».

Лафкадио смял газету.

«Как! Теперь еще и запонки Каролы! Это не старик, а какой-то перекресток».

Он повернул страницу и увидал среди «Последних известий»: RECENTISSIME TRUPP U ZELEZNOGOROZHNOGO PLOTNA

Лафкадио не стал читать и бросился к Гранд-Отелю.

Он положил в конверт свою карточку, приписав на ней: «ЛАФКАДИО ВЛУИКИ зашел узнать, не требуется ли графу Жюлиусу де Баральюлю секретарь».

Затем велел отнести.

Наконец, в холл, где он дожидался, за ним пришел лакей, повел его по коридорам, открыл перед ним дверь.

Лафкадио сразу же заметил брошенный в угол комнаты номер «Corriere della Sera». На столе, посреди комнаты, стоял раскупоренным большой флакон одеколona, распространяя сильный запах.

Жюлиус раскрыл объятия:

— Лафкадио! Мой друг... Как я рад вас видеть!

Его взъерошенные волосы развевались и шевелились вокруг лба; он словно вырос; в руке он держал платок с черными горошинами и обмахивался им.

— Вот уж кого я меньше всего ждал на свете; и с кем мне больше всех хотелось побеседовать сегодня...

— Это мадам Карола вам сказала, что я здесь?

— Какой странный вопрос!

— Но почему? Я как раз с ней встретился... Впрочем, я не уверен, узнала ли она меня.

— Карола! Так она в Риме?

— А вы не знали?

Я только что из Сицилии, и вы первый, кого я здесь вижу. Ее я и не хочу видеть.

— Я нашел ее очень красивой.

— Вы нетребовательны.

— Я хочу сказать: гораздо красивее, чем в Париже.

— Это экзотизм; но если вам охота...

— Лафкадио, такие речи между нами неуместны.

Жюлиус хотел принять строгий вид, но у него получилась всего лишь гримаса; он продолжал:

— Вы меня застаете в большом волнении. Моя жизнь — на повороте. У меня горит голова, и во всем теле я ощущаю какое-то неистовство, словно я вот-вот улечусь. За три дня, что я в Риме, куда я приехал на социологический съезд, я перехожу от удивления к удивлению. Ваш приход меня окончательно сразил... Я больше ничего не понимаю.

Он расхаживал большими шагами; подошел к столу, взял флакон, вылил на платок пахучую струю, приложил компресс ко лбу и так его и оставил.

— Мой молодой друг... вы мне позволите называть вас так?.. Мне кажется, я нашел свою новую книгу! То, как вы отзывались в Париже, пусть даже слишком резко, о «Воздухе Вершин», позволяет мне думать, что к этой книге вы уже не отнесетесь равнодушно.

Его ноги исполнили нечто вроде антраша; платок упал на пол; Лафкадио поспешил его поднять и, нагнувшись, почувствовал, что рука Жюлиуса тихо легла ему на плечо, совершенно так же, как когда-то рука старого Жюста-Аженора. Выпрямляясь, Лафкадио улыбался.

— Я еще так мало вас знаю, — сказал Жюлиус, — но сегодня я не могу не говорить с вами, как с...

Он запнулся.

— Я вас слушаю, как брата, мсье де Баральюль, — ответил Лафкадио, осмелев, — раз вы меня к этому приглашаете.

— Видите ли, Лафкадио, в той среде, в которой я живу в Париже, среди всех тех, с кем я встречаюсь: светских людей, духовенства, писателей, академиков, мне положительно не с кем поговорить, то есть не с кем поделиться теми новыми мыслями, которые меня волнуют. Потому что, должен вам сознаться, что, со времени нашей первой встречи, моя точка зрения коренным образом переменилась.

— Тем лучше, — дерзко заметил Лафкадио.

— Вы не можете себе представить, вы, человек посторонний нашему ремеслу, насколько ошибочная этика мешает свободному развитию творческого дара. И этот роман, который я теперь задумал, меньше всего похож на мои прежние романы. Той логичности, той последовательности, которой я требовал от своих героев, я для большей верности требовал прежде всего от самого себя: и это неестественно. Мы готовы уродовать самих себя, лишь бы походить на тот портрет, который сами себе придумали; это нелепо; поступая так, мы рискует исказить лучшее, что в нас есть.

Лафкадио продолжал улыбаться, предвкушая и узнавая отдаленное действие своих собственных, когда-то им сказанных, слов.

— Сказать ли вам, Лафкадио? В первый раз я вижу перед собой открытое поле... Понимаете ли вы, что это значит: открытое поле? Я говорю себе, что оно таким было и раньше; я твержу себе, что таково оно всегда и что до сих пор меня связывали только нечистые карьерные соображения, счеты с публикой, с неблагоприятными судьями, от которых поэт напрасно ждет награды. Отныне я ничего ни от кого не жду, как только от себя. Отныне я жду всего от себя, я жду всего от искреннего человека; и требую чего угодно; потому что теперь я предчувствую в себе самые удивительные возможности. И так как это будет всего лишь на бумаге, я могу дать им волю. А там посмотрим!

Он тяжело дышал, откидывая назад плечо, приподымал лопатку уже почти как крыло, словно его душили новые недоумения. Он глухо продолжал, понижая голос:

— И так как они меня не желают, эти господа академики, я хочу дать им веские основания, чтобы меня не допускать; ибо таковых у них не было. Не было.

При этих словах его голос стал вдруг почти пронзительным; он умолк, потом продолжал, уже более спокойно:

— Итак, вот что я придумал... Вы меня слушаете?

— До самой души, — отвечал, все так же смеясь, Лафкадио.

— И следуете за моей мыслью?

— До самого ада.

Жюлиус опять смочил платок, опустил в кресло; Лафкадио сел напротив верхом на стул.

— Речь идет о молодом человеке, из которого я хочу сделать преступника.

— В этом я не вижу ничего трудного.

— Как так! — сказал Жюлиус, полагавший, что это как раз и трудно.

— Да кто же вам мешает, раз вы романист? И раз вы придумываете, кто вам мешает придумывать все, что угодно?

— Чем страннее то, что я придумываю, тем лучше я это должен обосновать и объяснить.

— Обосновать преступление нетрудно.

— Разумеется... но именно этого я и не хочу. Я не хочу обосновывать преступление; мне достаточно обосновать преступника. Да, я хочу, чтобы преступление он совершил бескорыстно; чтобы он пожелал совершить ничем необоснованное преступление.

Лафкадио начинал слушать внимательнее.

— Возьмем его совсем еще юношей; я хочу, чтобы изящество его природы сказывалось в том, что его поступки по большей части — игра и что выгоде он обычно предпочитает удовольствие.

— Это, пожалуй, встречается не так уже часто... — нерешительно вставил Лафкадио.

— Не правда ли? — воскликнул восхищенный Жюлиус. — Добавим к этому, что он любит себя сдерживать...

— Вплоть до притворства.

— Привьем ему любовь к риску.

— Bravo! — сказал Лафкадио, все более потешаясь. — Если он вдобавок умеет прислушиваться к тому, что ему нашептывает бес любопытства, то я считаю, что ваш воспитанник вполне созрел.

Так, подпрыгивая и перескакивая друг через друга, они принялись как бы играть в чехарду. Жюлиус. — Я вижу, как он сначала упражняется; он мастер по части мелких краж.

Лафкадио. — Я часто задавал себе вопрос, почему их так мало бывает. Правда, случай украсть представляется обыкновенно только тем, кто не нуждается и не подвержен искушению.

Жюлиус. — Кто не нуждается; он из их числа, я уже сказал. Но его прельщают только такие случаи, где требуется известная ловкость, хитрость...

Лафкадио. — И которые представляют некоторую опасность.

Жюлиус. — Я уже говорил, что он любит риск... Впрочем, мошенничество ему претит; он не думает присваивать, а просто ему нравится тайно перемещать те или иные предметы. В этом он проявляет настоящий талант фокусника.

Лафкадио. — Затем, безнаказанность его окрыляет...

Жюлиус. — Но в то же время и злит. Если его ни разу еще не поймали, так это потому, что он ставил себе слишком легкие задачи.

Лафкадио. — Ему хочется чего-нибудь более рискованного.

Жюлиус. — Я заставляю его рассуждать так...

Лафкадио. — А вы уверены, что он рассуждает?

Жюлиус (продолжая). — Виновника преступления выдает то, что ему нужно было его совершить.

Лафкадио. — Мы говорил, что он очень ловок.

Жюлиус. — Да, и тем более ловок, что он будет действовать совершенно спокойно. Вы только подумайте: преступление, не вызванное ни страстью, ни нуждой. Для него повод к совершению преступления в том и состоит, чтобы совершить его без всякого повода.

Лафкадио. — Это уже вы осмысливаете его преступление; он же просто его совершает.

Жюлиус. — Нет никакого повода заподозрить в преступлении человека, который совершил его без всякого повода.

Лафкадио. — Вы слишком тонки. Таким, каким вы его сделали, он — то, что называется, свободный человек.

Жюлиус. — Зависящий от любой случайности.

Лафкадио. — Мне хочется поскорее увидеть его за работой. Что вы ему предложите?

Жюлиус. — Видите ли, я все не мог решиться. Да, до сегодняшнего вечера я все не мог решиться... И вдруг, сегодня вечером, в газете, среди последних известий, я нахожу как раз искомый пример. Провиденциальное событие! Это ужасно: можете себе представить — вчера убили моего beau-frere'a.

Лафкадио. — Как? этот старичок в вагоне — ваш...

Жюлиус. — Это был Амедей Флериссуар, которому я дал свой билет, которого я проводил на вокзал. За час перед тем он получил в моем банке шесть тысяч франков, и так как вез их с собой, то расставался со мной неохотно; у него были мрачные мысли, недобрые мысли какие-то, предчувствия. И вот, в поезде... Впрочем, вы сами прочли в газете.

Лафкадио. — Нет, только заголовок в «Происшествиях».

Жюлиус. — Ну, так я вам прочту. — Он развернул «Corriere». -Перевожу.

«Полиция, производившая усиленные розыски вдоль железнодорожного полотна между Римом и Неаполем, обнаружила сегодня днем в безводном русле Вольтурно, в пяти километрах от Капуи, тело убитого, которому, по-видимому, и принадлежал пиджак, найденный вчера вечером в вагоне. Это человек скромной внешности, лет пятидесяти. (Он казался старше своих

лет.) При нем не оказалось никаких бумаг, которые бы позволяли установить его личность. (Это дает мне, к счастью, некоторую отсрочку.) Его, по-видимому, вытолкнули их вагона с такой силой, что он перелетел через парапет моста, ремонтируемый в этом месте и замененный просто балками. (Что за стиль!) Мост возвышается над рекой на пятнадцать с лишним метров; смерть, по всей вероятности, последовала от падения, потому что на теле нет следов каких-либо ранений. Убитый найден без пиджака; на правой руке манжета, сходная с той, которая была обнаружена в вагоне, но без запонки...» — Что с вами? — Жюлиус остановился; Лафкадио невольно вздрогнул, потому что у него мелькнула мысль, что запонка была удалена уже после преступления. — Жюлиус продолжал: «В левой руке он сжимал шляпу из мягкого фетра...»

— Из мягкого фетра! Неучи! — пробормотал Лафкадио. Жюлиус посмотрел вверх газеты:

— Что вас удивляет?

— Ничего, ничего! Продолжайте.

— «...Из мягкого фетра, слишком просторную для его головы и принадлежащую, скорее всего, нападавшему; фабричное клеймо тщательно срезано на кожаном ободке, где недостает куска, формы и размера лаврового листа...»

Лафкадио встал, нагнулся над плечом Жюлиуса, чтобы следить за чтением, а может быть, чтобы скрыть свою бледность. Он уже не сомневается: преступление было подправлено; кто-то до него дотронулся; срезал клеймо; вероятно, тот незнакомец, который унес чемодан.

Жюлиус, между тем, продолжал:

— «... Что как бы свидетельствует о предумышленности этого преступления. (Почему именно этого преступления? Может быть, мой герой принял меры предосторожности на всякий случай...) Немедленно после составления протокола труп был доставлен в Неаполь для опознания». (Да, я знаю, что там у них есть способы и обыкновение сохранять трупы очень долгое время...)

— А вы уверены, что это он? — Голос Лафкадио слегка дрожал.

— А то как же! Я ждал его сегодня к обеду.

— Вы дали знать полиции?

— Нет еще. Мне необходимо сначала немного собраться с мыслями. Так как я уже в трауре, то по крайней мере в этом отношении (я хочу сказать — в смысле костюма) я спокоен; но вы же понимаете, что, как только станет известно имя убитого, я должен буду оповестить всю свою родню, разослать телеграммы, писать письма, должен заняться объявлениями, похоронами, должен ехать в Неаполь за телом, должен... Ах, дорогой мой Лафкадио, из-за этого съезда, на котором мне необходимо присутствовать, не согласились ли бы вы получить от меня доверенность и поехать за телом вместо меня?

— Мы об этом сейчас подумаем.

— Если, конечно, это вам не слишком тягостно. Пока же я избавляю мою бедную свояченицу от многих мучительных часов; по неопределенным газетным известиям как она может догадаться?.. Итак, я возвращаюсь к моей теме: когда я прочел эту заметку, я подумал: это преступление, которое я так ясно себе рисую, которое я реконструирую, которое я вижу — я знаю, я-то знаю, чем оно вызвано; и знаю, что, не будь этой приманки в виде шести тысяч франков, преступления бы не было.

— Но допустим, однако...

— Вот именно: допустим на минуту, что этих шести тысяч франков не было, или, даже вернее, что преступник их не тронул: тогда это и есть мой герой.

Лафкадио тем временем встал; он поднял уроненную Жюлиусом газету и, разворачивая ее на второй странице:

— Я вижу, вы не читали последнего сообщения: этот... преступник как раз не тронул

шести тысяч франков, — сказал он как можно спокойнее. — Вот, прочтите: «Во всяком случае это указывает на то, что преступление совершено не с целью грабежа».

Жюлиус схватил протянутую ему газету, стал жадно читать; потом провел рукой по глазам; потом сел; потом стремительно встал, бросился к Лафкадио и, хватая его за обе руки:

— Не с целью грабежа! — воскликнул он и, словно вне себя, стал яростно трясти Лафкадио. — Не с целью грабежа! Но в таком случае... — Он оттолкнул Лафкадио, отбежал в другой конец комнаты, обмахивался, хлопал себя по лбу, сморкался: — В таком случае я знаю, чорт возьми! я знаю, почему этот разбойник его убил... О несчастный друг! О бедный Флериссуар! Так, значит, он правду говорил! А я-то уже думал, что он сошел с ума... Но в таком случае ведь это же ужасно!

Лафкадио был удивлен; он ждал, скоро ли кончится этот кризис; он был немного сердит; ему казалось, что Жюлиус не в праве так от него ускользать.

— Мне казалось, что именно вы...

— Молчите! Вы ничего не понимаете... А я-то теряю с вами время в нелепых разглагольствованих... Скорее! Палку, шляпу.

— Куда вы так спешите?

— Как куда? Сообщить полиции.

Лафкадио загородил ему дверь.

— Сначала объясните мне, — сказал он повелительно. — Честное слова, можно подумать, что вы сошли с ума.

— Это я раньше сходил с ума. Теперь я возвращаюсь к рассудку... О бедный Флериссуар! О несчастный друг! Святая жертва! его смерть во-время останавливает меня на пути непочтительности, на пути кощунства. его подвиг меня образумил, А я еще смеялся над ним!..

Он снова принялся ходить; затем, вдруг остановившись и кладя трость и шляпу на стол рядом с флаконом, повернулся к Лафкадио:

— Хотите знать, почему этот бандит его убил?

— Мне казалось, что без всякого повода.

Жюлиуса взорвало:

— Во-первых, преступлений без всякого повода не бывает. От него избавились, потому что ему была известна тайна... которую он мне поведал, важная тайна; и, к тому же, слишком для него значительная. Его боялись, понимаете? Вот... Да, вам легко смеяться, вам, который ничего не смыслите в делах веры. — Затем, выпрямляясь, весь бледный: — Эту тайну наследую я.

— Будьте осторожны! Теперь они вас будут бояться.

— Вы сами видите, я должен немедленно сообщить полиции.

— Еще один вопрос, — сказал Лафкадио, опять останавливая его.

— Нет. Пустите меня. Я страшно тороплюсь. Можете быть уверены, что эту непрерывную слезку, которая так мучила моего несчастного брата, они установили и за мной; установили теперь. Вы себе представить не можете, что это за ловкий народ. Они знают решительно все, я вам говорю... Теперь уместнее, чем когда-либо, чтобы вы съездили за телом вместо меня... Теперь за мной так следят, что неизвестно, что со мной может случиться. Я прошу вас об этом, как услуге, Лафкадио, мой дорогой друг. — Он сложил руки, умоляя. — У меня сегодня голова кругом идет, но я наведу справки в квестуре и снабжу вас доверенностью, составленной по всем правилам. Куда мне ее вам прислать?

— Для большего удобства, я возьму комнату в этом же отеле. До завтра. Бегите скорее.

Он подождал, пока Жюлиус уйдет. Огромное отвращение подымалось в нем, почти ненависть и к самому себе, и к Жюлиусу; ко всему. Он пожал плечами, затем достал из кармана куковскую книжечку, выданную на имя Баральюля, которую он нашел в пиджаке Флериссуара,

поставил ее на стол, на видном месте, прислонив к флакону с одеколоном; погасил свет и вышел.

Несмотря на все принятые им меры, несмотря на настояния в квестуре, Жюлиусу де Баральюлю не удалось добиться, чтобы газеты не разглашали его родственных отношений с убитым или хотя бы не называли прямо гостиницы, где он остановился.

Накануне вечером он пережил поистине на редкость жуткие минуты, когда, вернувшись из квестуры, около полуночи, нашел у себя в комнате, на самом виду, куковский билет на свое имя, по которому ехал Флериссуар. Он тотчас же позвонил и, выйдя, бледный и дрожащий, в коридор, попросил слугу посмотреть у него под кроватью; сам он не решался. Нечто вроде следствия, тут же им наряженного, не привело ни к чему; но можно ли полагаться на персонал большого отеля?.. Однако, крепко проспав ночь за основательно запертой дверью, Жюлиус проснулся в лучшем настроении; теперь он был под защитой полиции. Он написал множество писем и телеграмм и сам отнес их на почту.

Когда он вернулся, ему сообщили, что его спрашивает какая-то дама; она себя не назвала, дожидается в читальной комнате. Жюлиус отправился туда и был немало удивлен, узнав Каролу.

Не в первой комнате, а в следующей, в глубине, небольшой и полутемной, она сидела боком у отдаленного стола и, для виду, рассеянно перелистывала альбом. При виде Жюлиуса она встала, не столько улыбаясь, сколько смущенно. Под черной накидкой на ней был темный корсаж, простой, почти изящный; зато кричащая, хоть и черная, шляпа производила неприятное впечатление.

— Вы сочтете меня очень дерзкой, граф. Я сама не знаю, как у меня хватило храбрости войти в этот отель и спросить вас; но вы так мило поклонились мне вчера... И потом, то, что мне надо вам сказать, слишком важно.

Она стояла по ту сторону стола; Жюлиус подошел сам; он дружески протянул ей руку через стол:

— Чему я обязан удовольствием вас видеть?

Карола опустила голову:

— Я знаю, что вас постигло большое горе.

Жюлиус сперва не понял; но, видя, как Карола достает платок и утирает глаза:

— Как? Вы пришли, чтобы выразить мне соболезнование?

— Я была знакома с мсье Флериссуаром, — отвечала она.

— Да что вы!

— О, только самое последнее время. Но я его очень любила. Он был такой милый, такой добрый... И это я дала ему запонки; те, что были описаны в газете: по ним я его и узнала. Но я не знала, что он вам приходится свояком. Я была очень удивлена, и вы сами понимаете, как мне было приятно... Ах, простите; совсем не то хотела сказать.

— Не смущайтесь, милая барышня, вы, должно быть, хотите сказать, что рады случаю со мной встретиться.

Карола, вместо ответа, уткнулась лицом в платок; ее сотрясали рыдания, и Жюлиусу показалось нежным взять ее за руку.

— Я тоже... — говорил он взволнованным голосом. — Я тоже, милая барышня, поверьте...

— Еще в то утро, перед его отъездом, я ему говорила, чтобы он был осторожен. Но это было не в его характере... Он был слишком доверчив, знаете.

— Святой; это был святой, — воодушевленно произнес Жюлиус и тоже достал платок.

— Я сама это понимала, — воскликнула Карола. — Ночью, когда ему казалось, что я сплю,

он вставал, становился на колени у кровати и...

Это невольное признание окончательно разволновало Жюлиуса; он спрятал платок в карман и, подходя ближе:

— Да снимите же шляпу, милая барышня.

— Благодарю вас, она мне не мешает.

— А мне мешает... Разрешите...

Но, видя, что Карола явно отодвигается, он перестал.

— Разрешите мне вас спросить: у вас есть какие-нибудь основания опасаться?

— У меня?

— Да; когда вы ему говорили, чтобы он был осторожен, у вас были, скажите, какие-нибудь основания предполагать... Говорите откровенно; здесь по утрам никого не бывает, и нас не могут услышать. Вы кого-нибудь подозреваете?

Карола опустила голову.

— Поймите, что это мне крайне интересно знать, — с оживлением продолжал Жюлиус, — войдите в мое положение. Вчера вечером, вернувшись из квестуры, куда я ходил давать показания, я нахожу у себя в комнате на столе, по самой середине, железнодорожный билет, по которому ехал этот несчастный Флериссуар. Он был выдан на мое имя; эти круговые билеты, разумеется, не подлежат передаче; и мне не следовало ему его давать; но дело не в этом... В том, что этот билет мне вернули, цинично положили ко мне в комнату, воспользовавшись минутой, когда меня не было, я вижу вызов, удальство, почти оскорбление... которое бы меня не смущало, само собой, если бы у меня не было оснований думать, что метят также и в меня, и вот почему: этот несчастный Флериссуар, ваш друг, знал одну тайну... ужасную тайну... очень опасную тайну... о которой я его не спрашивал... которой я совсем не хотел узнать... которую он имел досаднейшую неосторожность мне доверить. И вот, я вас спрашиваю: тот, кто, желая похоронить эту тайну, не побоялся пойти на преступление... вам известен?

— Успокойтесь, граф: вчера вечером я указала на него полиции.

— Мадмуазель Карола, ничего другого я от вас и не ждал.

— Он мне обещал не делать ему зла; если бы он сдержал слово, я бы сдержала свое. Я больше не могу, пусть он делает со мной, что хочет.

Карола была очень возбуждена; Жюлиус обошел стол и, снова приближаясь к ней:

— Нам было бы, пожалуй, удобнее разговаривать у меня в комнате.

— О, — отвечала Карола, — я вам сказала все, что мне надо было сказать; мне не хочется вас задерживать.

Отодвигаясь все дальше, она обогнула стол и оказалась у двери.

— Нам лучше расстаться теперь, — с достоинством продолжал Жюлиус, который эту стойкость желал обратить в свою заслугу. — Да, вот что я хотел сказать еще: если послезавтра вы решите быть на похоронах, было бы лучше, чтобы вы меня не узнавали.

После этих слов они расстались, причем имя незаподозренного Лафкадио ни разу не было произнесено.

Лафкадио вез из Неаполя останки Флериссуара. Они находились в покойницком вагоне, который прицепили в конце поезда, но в котором Лафкадио не считал необходимым ехать сам. Однако, ради приличия, он сел если не в ближайшее купе, — ибо последним был вагон второго класса, — то во всяком случае настолько близко к телу, насколько то позволял первый класс. Выехав из Рима утром, он должен был вернуться туда в тот же вечер. Он неохотно сознавался себе в новом чувстве, вскоре овладевшем его душой, потому что ничего так не стыдился, как скуки, этого тайного недуга, от которого его до сих пор оберегали беспечная жадность юности, а затем суровая нужда. Выйдя из купе, не ощущая в сердце ни надежды, ни радости, он бродил их конца в конец коридора, снедаемый смутным любопытством и неуверенно ища чего-нибудь нового и безрассудного. Ему всего казалось мало. Он уже не думал о морском путешествии, нехотя признавая, что Борнео его не соблазняет, как, впрочем, и Италия; даже к последствиям своего поступка он был равнодушен, этот поступок казался ему теперь компрометирующим и комичным. Он был зол на Флериссуара, что тот так плохо защищался; его возмущала это жалкая фигура, ему бы хотелось изгладить ее из памяти.

Зато, с кем бы он охотно повстречался снова, так это с тем молодцом, который стащил его чемодан; вот это шутник!.. И, словно надеясь его увидеть, он на станции Капуя высунулся в окно, озирая пустынную платформу. Да узнал ли бы он его? Он видел его только со спины, на расстоянии, когда тот уже удалялся в полумгле... Он мысленно следовал за ним в темноте, рисовал себе, как тот приходит к руслу Вольтурно, находит отвратительный труп, обшаривает его и, из какого-то озорства, вырезает на ободке шляпы, его, Лафкадио, шляпы, этот кусочек кожи, «формы и разреза лаврового листа», как изящно сказано было в газете. В конце концов, Лафкадио был очень благодарен своему грабителю за то, что тот лишил полицию этой маленькой улики с адресом магазина. Понятно, этот обиратель мертвецов и сам заинтересован в том, чтобы не привлекать к себе внимания; и если он, несмотря на это, намерен воспользоваться своим отрезком, то что ж, было бы довольно забавно с ним договориться.

Уже совсем стемнело. Лакей из вагона-ресторана обходил поезд, оповещая пассажиров первого и второго класса, что обед готов. Хоть и не чувствуя аппетита, но по крайней мере спасаясь на час от безделья, Лафкадио двинулся следом за несколькими пассажирами, изрядно отставая от них. Ресторан был в голове поезда. Вагоны, через которые проходил Лафкадио, были пусты; кое-где, по диванам, лежали всякие предметы, указывая на занятые ушедшими обедать места: пледы, подушки, книги, газеты. Ему бросился в глаза адвокатский портфель. Зная, что следом за ним не идет никто, он остановился у этого купе, затем вошел. Собственно говоря, этот портфель его отнюдь не привлекал; он заглянул в него только для очистки совести.

На внутренней крышке, скромными золотыми буквами, значилось: ДЕФУКБЛИЗ Юридический факультет. Бордо.

Внутри лежали две брошюры по уголовному праву и шесть номеров «Судебной газеты».

«И это жвачное — со съезда. Фу!» — подумал Лафкадио, кладя все на место, и поспешил вдогонку за коротенькой вереницей пассажиров, направлявшихся в ресторан.

Шествие замыкали хрупкая девочка с матерью, обе в глубоком трауре; перед ними шел господин в сюртуке, в цилиндре, с длинными, гладкими волосами и седеющими баками; по-видимому, мсье Дефукблиз, обладатель портфеля. Двигались медленно, шатаясь от толчков поезда. На последнем повороте коридора, когда профессор уже собирался устремиться в подобие гармоники, соединяющей вагоны меж собой, его качнул особенно резкий толчок; чтобы сохранить равновесие, он сделал порывистое движение, от которого его пенсне,

сорвавшись со шнурка, полетело в угол тесного вестибюля, образуемого коридором перед дверью в уборную. Пока он нагибался, отыскивая свои глаза, дама с девочкой прошли мимо. Лафкадио некоторое время забавлялся, созерцая усилия ученого мужа; жалко беспомощный, он простирал наугад беспокойные руки над самым полом; он плавал в абстракции; это было похоже на неуклюжую пляску стопоходящего или на то, что он впал в детство и играет в «капусту». «Ну, Лафкадио, шевелись! Послушайся сердца, оно у тебя неиспорченное. Помоги немощному. Вручи ему это необходимое стекло; сам он его не найдет». Он повернулся к нему спиной. Он сейчас его раздавит... В эту минуту, от нового толчка, несчастный налетел, склонив голову, на дверь уборной; цилиндр ослабил удар, наполовину сплюснвшись и надвинувшись на уши. Мсье Дефукблиз испустил стон; выпрямился; снял цилиндр. Меж тем Лафкадио, считая, что довольно поиграл, поднял пенсне, опустил его в шляпу просящего и убежал, уклоняясь от выражений благодарности.

Обед уже начался; Лафкадио сел возле стеклянной двери, справа от прохода, за стол, накрытый на двоих; место напротив было пусто; слева от прохода, в том же ряду, вдова с дочерью занимала стол с четырьмя приборами, из которых два остались свободными.

«Какая скука царит в таких местах, как это, — думал Лафкадио, скользя равнодушным взглядом по присутствующим, не находя ни одного лица, на котором можно было бы остановиться. — Все это стадо относится к жизни, как к нудной обязанности, а это такое развлечение, если на нее взяться по-настоящему... Как они плохо одеты! Но как они были бы безобразны, если бы их раздеть! Я умру, не дождавшись десерта, если не закажу шампанского».

Вошел профессор. Он, по-видимому, только что вымыл руки, испачканные во время поисков; он рассматривал свои ногти. Лакей усадил его против Лафкадио. От стола к столу ходил метр-дотель. Лафкадио молча указал на карте Монтебелло Гран-Креман в двадцать франков, а мсье Дефукблиз спросил бутылку воды Сен-Гальмье. Держа меж двух пальцев свое пенсне, он тихо дышал на него, а затем краешком салфетки протирал стекла. Лафкадио следил за ним и удивлялся его кротовым глазам, мигающим под толстыми красноватыми веками.

«К счастью, он не знает, что это я ему вернул зрение! Если он начнет меня благодарить, я сию же минуту пересяду».

Метр-дотель вернулся с Сен-Гальмье и шампанским, которое откупорил первым и поставил между обоими приборами. Как только эта бутылка очутилась на столе, Дефукблиз ее схватил, не разбирая, с чем она, налил себе полный стакан и осушил его залпом... Метр-дотель протянул было руку, но Лафкадио остановил его, смеясь.

— Ой, что это пью? — воскликнул Дефукблиз с отчаянной гримасой.

— Монтебелло этого господина, вашего соседа, — с достоинством произнес метр-дотель. — А ваш Сен-Гальмье — вот, извольте.

Он поставил вторую бутылку.

— Ах, как мне неприятно... Я так плохо вижу... Я совершенно сконфужен, поверьте...

— Какое вы бы мне доставили удовольствие, — перебил его Лафкадио, — если бы не стали извиняться, а выпили бы еще стакан, если первый вам понравился.

— Увы, должен сознаться, что он показался мне отвратительным; и я не понимаю, как это я мог, по рассеянности, проглотить целый стакан; мне так хотелось пить... Скажите, я вас прошу: это вино — очень крепкое? Потому что, я должен вам сказать... я ничего не пью, кроме воды... малейшая капля алкоголя неминуемо бросается мне в голову... Боже мой, боже мой! Что со мной будет? Не вернуться ли мне поскорее в купе?.. Я думаю мне следует прилечь.

Он хотел встать.

— Не уходите, не уходите! — сказал Лафкадио, которому становилось весело. — Вам, напротив, следует покушать и не беспокоиться об этом вине. Я вас провожу, если вам нужна

будет помощь; но вы не бойтесь: от такой малости не опьянел бы и ребенок.

— Буду надеяться. Но, право, я не знаю, как вас... Могу я вам предложить немного Сен-Гальмье?

— Очень вам благодарен; но разрешите мне предпочесть мое шампанское.

— Ах, вот как? Так это было шампанское!.. И... вы все это выпьете?

— Чтобы вас успокоить.

— Вы слишком любезны; но, на вашем месте, я бы...

— Вы бы покушали немного, — перебил Лафкадио; сам он ел, и Дефукблиз начинал ему надоедать. Теперь его внимание было обращено на вдову.

Наверное итальянка. Вдова офицера, должно быть. Какое благородство движений! Какой взгляд! Какой у нее чистый лоб! Какие умные руки! Как изящно она одет, хоть и совсем просто... Лафкадио, когда в твоём сердце перестанут звучать такие гармонические созвучия, пусть оно перестанет биться! Ее дочь похожа на нее; и уже каким благородством, чуть-чуть серьезным и даже почти печальным, смягчена ее детская грация! С какой заботливостью к ней склоняется мать! Ах, перед такими созданиями смирился бы демон; для таких созданий, Лафкадио, твоё сердце пошло бы на жертву...

В эту минуту подошел лакей, чтобы переменить тарелки. Лафкадио отдал свою, не докончив, ибо то, что он вдруг увидел, повергло его в изумление: вдова, нежная вдова наклонилась в сторону прохода и быстро приподняв юбку самым естественным движением, явила взорам пунцовый чулок и прелестную ножку.

Эта жгучая нота так нежданно прозвучала в величавой симфонии... или ему приснилось? Между тем лакей подал новое блюдо. Лафкадио собрался положить себе; его глаза упали на тарелку, и то, что он тут увидел, доканало его окончательно.

Здесь, перед ним, а виду, посреди тарелки, неведомо откуда взявшаяся, отвратительная, сразу же отличимая среди тысячи других... можешь не сомневаться, Лафкадио: это запонка Каролы! Та самая запонка, которой не оказалось на второй манжете Флериссуара. Это похоже на кошмар... Но лакей наклоняется, держа блюдо. Лафкадио быстро проводит рукой по тарелке, смахивая противную побрякушку на скатерть; он накрывает ее тарелкой, накладывает себе большую порцию, наполняет стакан шампанским, тотчас же осушает его, наливает снова. Если у человека уже натошак пьяный бред... Нет, то была не галлюцинация: он слышит, как запонка поскрипывает под тарелкой; он приподнимает тарелку, берет запонку; опускает ее в жилетный карман, рядом с часами; ощупывает еще раз, убеждается: запонка тут, в верном месте... Но кто объяснит, как она могла очутиться на тарелке? Кто ее туда положил?.. Лафкадио глядит на Дефукблиза: ученый муж безмятежно ест, опустив нос. Лафкадио хочется думать о чем-нибудь другом: он снова смотрит на вдову; но и в ее движениях, и в ее одежде все стало опять благопристойно, банально; она уже кажется ему не такой красивой. Он старается воскресить в памяти ее вызывающий жест, красный чулок — и не может. Он старается снова представить себе лежащую на тарелке запонку, и, не ощущая он ее здесь, у себя в кармане, он наверное усомнился бы... Да, в самом деле, а почему, собственно, он ее взял?.. Ведь запонка — не его. Этот инстинктивный, нелепый жест — какая улика! какое признание! Как он выдал себя тому, кто бы он ни был, быть может сыщик, — кто, вероятно, следит за ним сейчас, наблюдает... В эту грубую ловушку он попался, как дурак. Он чувствует, что бледнеет. Он быстро оборачивается; за стеклянной дверью — никого... Но, может быть, кто-нибудь его видел только что? Он силится есть; но от досады у него сжимаются зубы. Несчастный! Он жалеет не о своем ужасном преступлении, он жалеет об этом злополучном жесте... Чего это профессор ему так улыбается?

Дефукблиз кончил есть. Он вытер рот, затем, опершись локтями на стол и нервно теребя

салфетку, уставился на Лафкадио; губы его как-то странно подергивались; наконец, словно не выдержав:

— Осмелюсь я попросить у вас еще чуточку? Он робко пододвинул стакан к почти пустой бутылке.

Лафкадио, отвлеченный от своей тревоги и радуясь этому, вылил ему последние капли:

— Много я не могу вам предложить... Но, хотите, я велю подать еще?

— В таком случае, я думаю, довольно будет полубутылки.

Дефукблиз, уже явно подвыпив, утратил чувство приличий. Лафкадио, которого сухое вино не страшило, а наивность соседа забавляла, велел откупорить еще бутылку.

— Нет, нет! Не наливайте мне так много! — говорил Дефукблиз, поднимая колеблющийся стакан, пока Лафкадио ему наливал. — Любопытно, что в первую минуту мне показалось так невкусно. Мы часто боимся многого такого, чего не знаем. Просто я думал, что пью воду Сен-Гальмье, и решил, что у этой воды Сен-Гальмье, понимаете, довольно странный вкус. Это то же самое, как если бы вам налили воды Сен-Гальмье. когда вы думаете, что пьете шампанское, и вы бы сказали: у этого шампанского, по-моему, довольно странный вкус!..

Он смеялся собственными словами, затем нагнул через стол к Лафкадио, который смеялся тоже, и, понизив голос:

— Я сам не знаю, отчего мне так смешно; это все ваше вино, должно быть. Я подозреваю, что оно все-таки немного крепче, чем вы говорите. Хе, хе, хе! Но вы меня проводите в мой вагон: уговор, не правда ли? Там мы будем одни, и если я буду вести себя неприлично, вы будете знать почему.

— В путешествии, — заметил Лафкадио, — это ни к чему не обязывает.

— Ах, — подхватил Дефукблиз, — чего бы человек не сделал в жизни, если бы только мог быть вполне уверен, что это ни к чему не обязывает, как вы изволили сказать! Если бы только знать наверное, что это не влечет за собой никаких последствий... Например, хотя бы то, что я вам сейчас говорю, а ведь это, в сущности, самая простая мысль; неужели вы думаете, что я бы решился так прямо это сказать, если бы мы были в Бордо? Я говорю — в Бордо, потому что я там живу. Там меня знают, уважают; хоть я и не женат, я веду мирную, спокойную жизнь, занимаю видное место: профессор юридического факультета; да, сравнительная криминология новая кафедра... Вы сами понимаете, что там, в Бордо, мне не разрешается, вот именно, не разрешается выпить, хотя бы даже нечаянно. Моя жизнь должна быть почтенной. Посудите сами: вдруг мой ученик встретил бы меня на улице пьяным!.. Почтенной; и чтобы не казалось, будто я себя принуждаю; в этом вся суть; нельзя, чтобы люди думали: мсье Дефукблиз (это мое имя) хорошо делает, что не дает себе воли!.. Не только нельзя делать ничего необычного, но надо, чтобы и другие были убеждены, что ты не мог бы сделать ничего необычного даже при полнейшей свободе, что в тебе и нет ничего необычного, что просилось бы наружу. Не осталось ли еще немного вина? Только несколько капель, дорогой сообщник, несколько капель... Второго такого случая в жизни не представится. Завтра, в Риме, на этом съезде, где мы все собрались, я встречу множество коллег, чинных, прирученных, степенных, таких же размеренных, как и я буду сам, как только надену опять свою ливрею. Люди с положением, как мы с вами, обязаны себя калечить.

Между тем обед кончился; лакей обходил столики, получая по счетам и на чай.

По мере того как вагон пустел, голос Дефукблиза становился все громче; временами его раскаты слегка беспокоили Лафкадио. Профессор продолжал:

— И если бы не было общества, для того чтобы нас сдерживать, достаточно было бы родных и друзей, которым мы никогда не решимся действовать наперекор. Нашей неблагопристойной искренности они противопоставляют некий наш образ, за который мы

только наполовину ответственны, который на нас очень мало похож, но преступить который, я вам говорю, неприлично. А в эту минуту — факт: я освобождаюсь от своего образа, я покидаю самого себя... Но я вам надоел?

— Вы меня ужасно интересуете.

— Я говорю! Говорю... Что вы хотите! Даже когда пьян, остаешься профессором; а тема меня волнует... Но если вы кончили обедать, может быть вы были бы так добры взять меня под руку, чтобы помочь мне дойти до моего купе, пока я еще держусь на ногах. Я боюсь, что если засижусь здесь, то не в состоянии буду встать.

При этих словах Дефукблиз напрягся, поднялся со стула, но тотчас же поник и, обрушась на уже прибранный стол, туловищем к Лафкадио, продолжал мягким и как бы конфиденциальным тоном:

— Вот мой тезис: знаете, что надо для того, чтобы честный человек был мерзавцем? Достаточно перемены обстановки, забвения! Да, простая дыра в памяти — и искренность пробивается на свет!.. Прекращение непрерывности: простой перерыв тока. Разумеется, на своих лекциях я этого не говорю... Но, между нами, какие преимущества для побочных детей! Подумайте только: человек, самое бытие которого является следствием заскока, зазубрины в прямой линии...

Голос профессора снова звучал громко; он смотрел на Лафкадио какими-то странными глазами, и их то мутный, то пронзительный взгляд начинал того беспокоить. Лафкадио уже не был уверен, не притворна ли близорукость этого человека, и почти узнавал этот взгляд. Наконец, смущенный больше, чем ему самому хотелось думать, он встал и резко произнес:

— Ну! Возьмите меня под руку, мсье Дефукблиз. Вставайте! Наговорились!

Дефукблиз с большим трудом поднялся со стула. Они двинулись, спотыкаясь в коридорах, к купе, где лежал портфель профессора. Дефукблиз вошел первый. Лафкадио усадил его и простился. Он уже повернулся, чтобы итти, как вдруг на плечо его опустилась мощная рука. Он быстро оборотился. Дефукблиз стремительно встал...но был ли то Дефукблиз, восклицавший насмешливым, властным и ликующим голосом:

— Нехорошо так скоро покидать друзей, господин Лафкадио Икс!.. Так вы и в самом деле думали удрать?

От балаганного, подвыпившего профессора не оставалось и следа в здоровенном, рослом малом, в котором Лафкадио теперь уже ясно узнавал Протоса. Протоса выросшего, пополневшего, возвеличенного и какого-то страшного.

— Ах, это вы, Протос, — сказал он просто. — Так оно лучше. Я все не мог вас признать.

Ибо, как бы она ни была ужасна, Лафкадио предпочитал любую действительность тому нелепому кошмару, который мучил его уже целый час.

— Я недурно загримировался, как вы заходите?.. Для вас я постарался... А все-таки, милый мой, это вам бы следовало носить очки; с вами могут быть неприятные истории, если вы так плохо узнаете тончайших.

Сколько полууснувших воспоминаний пробуждало в уме Кадио это слово: «тончайших»! Тончайшим на языке, которым они с Протосом пользовались в те времена, когда вместе учились в пансионе, назывался человек, у которого, по какой бы то ни было причине, не для всех и не везде было одинаковое лицо. Согласно их классификации, существовало несколько категорий тончайших, различаемых по степени их изысканности и достоинств, и им соответствовало и противопоставалось единое обширное семейство «ракообразных», представители коего карячились на всех ступенях общественной лестницы.

Наши приятели считали признанным две аксиомы 1. — Тончайшие узнают друг друга. 2. — Ракообразные не узнают тончайших. — Теперь Лафкадио все это вспоминал; будучи из тех

натур, которые рады любой игре, он улыбнулся. Протос продолжал.

— А все-таки хорошо, что я тот раз оказался под рукой, как вам кажется?.. Пожалуй, это вышло не совсем случайно. Я люблю следить за новичками: это публика с выдумкой, предприимчивая, милая... Но они немного легкомысленно воображают, будто могут обойтись без советов. Ваша работа здорово нуждалась в ретушовке, дорогой мой!.. Мыслимое ли дело напяливать этакий колпак, когда приступаешь к операции? Да ведь благодаря адресу магазина на этом вещественном доказательстве, вы бы через неделю сидели в кутузке. Но старых друзей я в обиду не даю, что и доказываю. Знаете, я вас когда-то очень любил, Кадио? Я всегда считал, что из вас может выйти толк. Ради вашей красоты все женщины забегали бы, и немало мужчин попрыгало бы в придачу. Как я был рад, когда услышал про вас и узнал, что вы едете в Италию! Честное слово, мне не терпелось посмотреть, чем вы стали с того времени, когда мы с вами встречались у нашей приятельницы. А знаете, вы еще и теперь недурны! Да, у этой Каролы губа не дура!

Раздражение Лафкадио становилось все более явным, равно как и его старание это скрыть; все это очень забавляло Протоса, делавшего вид, будто он ничего не замечает. Он вынул из жилетного кармана лоскуток кожи и стал его разглядывать.

— Чисто вырезано, как вы находите?

Лафкадио готов был его задушить; он сжимал кулаки, и ногти впивались ему в мясо. Тот насмешливо продолжал:

— Недурная услуга! Стоит, пожалуй, шести ассигнаций... которые вы не прикарманили, не скажете ли, почему?

Лафкадио передернуло:

— Или вы принимаете меня за вора?

— Послушайте, дорогой мой, — спокойно продолжал Протос, — к любителям у меня душа не лежит, должен сказать вам откровенно. А потом, знаете, со мной нечего хорохориться или валять дурачка. Вы обнаруживаете способности, спору нет, блестящие способности, но...

— Перестаньте издеваться, — перебил его Лафкадио, не в силах больше сдерживать злость. — К чему вы клоните? Я поступил, как мальчишка; вы думаете, я сам этого не понимаю? Да, у вас против меня есть оружие; я не стану касаться того, благоразумно ли было с вашей стороны им пользоваться. Вы желаете, чтобы я у вас выкупил этот лоскуток. Ну, говорите же! Перестаньте смеяться и не смотрите на меня так. Вы хотите денег. Сколько?

Тон был настолько решителен, что Протос отступил немного назад; но тотчас же оправился.

— Не волнуйтесь! Не волнуйтесь! — сказал он. — Что я вам сказал неприятного? Мы рассуждаем спокойно, по-дружески. Горячиться не из-за чего. Честное слово, вы молодеете, Кадио!

Он тихонько погладил его по руке, но Лафкадио нервно ее отдернул.

— Сядем, — продолжал Протос, — удобнее будет разговаривать.

Он сел в угол, возле двери в коридор, и положил ноги на диван напротив.

Лафкадио решил, что Протос хочет загородить выход. Протос, вероятно, был вооружен. У него же как раз не было при себе оружия. Он понимал, что в случае рукопашной его ждет неминуемое поражение. Кроме того, если бы даже у него и было желание бежать, то любопытство уже брало верх, неудержимое любопытство, которого в нем ничто никогда не могло пересилить, даже чувство самосохранения. Он сел.

— Денег? Фи! — сказал Протос. Он достал сигару, предложил также Лафкадио, но тот отказался. — Дым вам не беспокоит?.. Ну, так слушайте.

Он несколько раз затянулся, затем, совершенно спокойно:

— Нет, нет, Лафкадио, друг мой, я от вас жду не денег; я жду послушания. По-видимому, дорогой мой (извините меня за откровенность), вы не вполне отдаете себе отчет в вашем положении. Вам необходимо смело взглянуть ему в глаза; позвольте мне вам в этом помочь.

«Итак, из социальных перегородок, которые нас окружают, некий юноша задумал выскочить; юноша симпатичный, и даже совсем в моем вкусе: наивный и очаровательно порывистый; ибо он действовал, насколько мне кажется, без особого расчета... Я помню, Кадио, каким вы в прежнее время были мастером по части вычислений, но собственных расходов вы ни за что не соглашались подсчитывать... Словом, режим ракообразных вам опротивел; не мне этому удивляться... Но что меня удивляет, так это то, что при вашем уме, Кадио, вы сочли, что можно так просто выскочить из одного общества и не очутиться, тем самыми, в другом; или что какое бы то ни было общество может обходиться без законов.

„Lawless“, ^[19] — помните? Мы где-то с вами читали: „Two hawks in the air, two fishes swimming in the sea not more lawless than we...“ ^[20] Какая чудесная вещь — литература! Лафкадио, друг мой, научитесь закону тончайших».

— Вы бы, может быть, продолжали?

— К чему торопиться? Время у нас есть. Я еду до самого Рима. Лафкадио, друг мой, бывает, что преступление ускользает от жандармов; я вам объясню, почему мы хитрее, чем они: потому что мы рискует жизнью. То, что не удаётся полиции, нам иной раз удаётся. Что ж, вы сами этого хотели, Лафкадио; дело сделано, и вам не уйти. Я бы предпочел, чтобы вы меня послушались, потому что, знаете ли, я был бы искренно огорчен, если бы мне пришлось выдать полиции такого старого друга, как вы; но что поделаешь? Отныне вы зависите или от нее, или от нас.

— Выдать меня, это значит выдать и себя...

— Я думал, мы говорим серьезно. Поймите же, Лафкадио: полиция сажает в кутузку строптивых; а с тончайшими итальянская полиция охотно ладит. «Ладит», да, мне кажется, это подходящее слово. Я сам немножко вроде полиции, дорогой мой. Я смотрю. Слежу за порядком. Сам я не действую: у меня действуют другие.

«Ну, полно же, перестаньте ломаться, Кадио! В моем законе нет ничего страшного. Вы все это себе преувеличиваете; такой наивный и такой горячий! Или, по-вашему, вы не из послушания, не потому, что я этого хотел, взяли с тарелки, за обедом, запонку мадмуазель Венитекуа? Ах, неосмотрительный жест! Идиллический жест! Бедный мой Лафкадио! И злились же вы на себя за этот маленький жест, скажите? Погано то, что не я один его видел. Э, не удивляйтесь; лакей, вдова и девочка, — все это одна компания. Милейшие люди. Дело за вами, чтобы с ними подружиться. Лафкадио, друг мой, будьте рассудительны; вы подчиняетесь?»

Быть может от чрезмерного смущения, но Лафкадио решил ничего не говорить. Он сидел вытянувшись, сжав губы, устремив глаза прямо перед собой. Протос продолжал, пожав плечами:

— Странная фигура! А ведь такая гибкая!.. Но вы, быть может, уже согласились бы, если бы я вам сразу сказал, чего мы от вас ждем. Лафкадио, друг мой, положите конец моим сомнениям: чтобы вы, которого я помню таким бедным, не подняли шести тысячных билетов, брошенных судьбою к вашим ногам, разве это, по-вашему, естественно?... Мсье де Баральюль, отец, как мне говорила мадмуазель Венитекуа, умер на следующий день после того, как граф Жюлиус, его достойный сын, явился к вам с визитом; и в этот же день вечером вы мадмуазель Венитекуа выставили. Затем ваши отношения с графом Жюлиусом приняли, ей богу, весьма интимный характер; не объясните ли вы мне почему?.. Лафкадио, друг мой, в былые времена у вас было множество дядей; по-видимому, с тех пор в вашей родословной прибавились кое-какие графики!.. Нет, не сердитесь, я шучу. Но что же, по-вашему, остается предположить?.. если

только, конечно, вы не обязаны вашим теперешним благосостоянием непосредственно мсье Жюлиусу; что, при вашей обольстительной внешности, разрешите мне вам это сказать, казалось бы мне куда более скандальным. Так или иначе, и что бы мы там ни предполагали, Лафкадио, друг мой, дело ясно, и ваш долг предуказан: вы шантажируете Жюлиуса. Да вы не фыркайте, бросьте! шантаж — установление благое, необходимое для поддержания нравов. Что это вы? Вы меня покидаете?

Лафкадио встал.

— Да пустите же меня, наконец! — воскликнул он, шагая через тело Протоса; лежа поперек купе, на двух диванах, тот и рукой не шевельнул. Лафкадио, удивленный тем, что его отпускают, открыл дверь в коридор и, отойдя:

— Я не убегаю, не бойтесь. Вы можете не терять меня из виду, все, что угодно, но слушать вас дольше я не согласен... Вы меня извините, если вашему обществу я предпочитаю полицию. Можете дать ей знать; я ее жду.

В этот самый день вечерний поезд привез из Милана Антимов; так как они путешествовали в третьем классе, то только по приезде увидели графиню де Баральюль и ее старшую дочь, прибывших с тем же поездом, в спальном вагоне.

За сколько часов до печальной телеграммы графиня получила от мужа письмо, в котором граф красноречиво говорил о живейшем удовольствии, доставленном ему неожиданной встречей с Лафкадио; разумеется, здесь не было ни слова о том полуродстве, которое придавало, в глазах Жюлиуса, такую коварную привлекательность этому молодому человеку (выполняя отцовскую волю, Жюлиус не имел по этому поводу открытого объяснения ни с женой, ни с самим Лафкадио), но кое-какие намеки, кое-какие недомолвки достаточно говорили графине; я даже уверен, не забавляло ли Жюлиуса, у которого было довольно-таки мало развлечений в его буржуазном житье-бытье, ходить вокруг скандала и обжигать о него кончики пальцев. Точно так же я не уверен, не оказало ли присутствие в Риме Лафкадио, надежда его увидеть, известного влияния, даже существенного влияния, на принятое Женевьевой решение отправиться туда вместе с матерью.

Жюлиус встретил их на вокзале. Он поспешно увез их в Гран-Отель, почти тотчас же расставшись с Антимами, с которыми должен был увидеться на следующий день, на похоронах. А те отправились на виа ди Бакка ди Леоне, в ту гостиницу, где останавливались в первый свой приезд.

Маргарита привезла романисту хорошие вести; его избрание должно пройти, как по маслу; третьего дня кардинал Андре официально сообщил ей об этом; кандидату не придется даже возобновлять своих визитов; Академия сама идет ему на встречу с разверзтыми дверями; его ждут.

— Вот видишь! Что я тебе говорила в Париже? Все устраивается. В жизни надо только уметь ждать.

— И не меняться, — сокрушенно отвечал Жюлиус, поднося к губам руку супруги и не замечая, как взгляд его дочери, направленный на него, отягчается презрением. — Я верен вам, своим мыслям, своим принципам. Постоянство — необходимейшая из добродетелей.

Уже от него отдалялись и память об его недавнем шатании, и всякий неправовверный помысел, и всякое неблагопристойное намерение. Он удивился тому, с какой тончайшей последовательностью его разум на миг отклонился от прямого пути. Это не он переменялся: переменялся папа.

«До чего, наоборот, постоянна моя мысль, — говорил он себе, — до чего логична! Самое трудное, это — знать, чего держаться. Этот несчастный Флериссуар умер оттого, что проник за кулисы. Если сам ты прост, то проще всего — держаться того, что знаешь. Эта отвратительная тайна его убила. Познание дает силу лишь сильным... Все равно! Я рад, что Карола сообщила полиции; это дает мне возможность свободнее обдумать положение... А все-таки если бы Арман-Дюбуа знал, что своими бедствиями, что своим изгнанием он обязан не настоящему папе, какое это было бы для него утешение! как это окрылило бы его веру! как ободрило бы!.. Завтра, после похорон, мне следовало бы с ним поговорить».

Народа на этих похоронах было немного. За катафалком следовали три кареты. Шел дождь. В первой карете Блафафас дружески сопровождал Арнику (как только кончится траур, он, несомненно, на ней женится); они выехали из По третьего дня (о том, чтобы оставить вдову наедине со своим горем, отпустить ее одну в этот дальний путь, Блафафас не допускал и мысли; а если бы даже и допускал! Хоть и не будучи членом семьи, он все же надел траур; какой

родственник сравнится с таким другом?), но прибыли в Рим всего лишь за несколько часов, потому что ошиблись поездом.

В последней карете поместились мадам Арман-Дюбуа с графиней и ее дочерью; во второй — граф с Антимом Арманом-Дюбуа.

На могиле Флериссуара об его злополучной судьбе не говорилось ничего. Но на обратном пути с кладбища Жюлиус де Баральюль, оставшись вновь наедине с Антимом, начал:

— Я вам обещал ходатайствовать за вас перед святым отцом.

— Бог свидетель, что я вас об этом не просил.

— Это верно: возмущенный тем, в какой нищете вас покинула церковь, я слушался только своего сердца.

— Бог свидетель, что я не жаловался.

— Знаю!.. Знаю!.. И злили же вы меня вашей покорностью! И раз уж вы сами об этом заговорили, я вам признаюсь, дорогой Антим, что я видел в этом не столько святость, сколько гордыню, и, когда я был у вас последний раз в Милане, эта чрезмерная покорность показалась мне гораздо ближе к возмущению, чем к истинному благочестию, и явилась для моей веры тяжким испытанием. Господь так много от вас не требовал, чорт возьми! Будем откровенны: ваш образ действий меня шокировал.

— А ваш, могу вам также сознаться, меня огорчал, дорогой брат. Не вы ли сами подстрекали меня к возмущению и...

Жюлиус, горячась, перебил его:

— Я достаточно убедился на собственном опыте и учил других на протяжении всей моей деятельности, что можно быть примерным христианином и не гнушаться законными преимуществами, связанными с тем положением, которое господь счел нужным нам предоставить. Что я осуждал в вашем образе действий, так это именно то, что своей деланностью он как бы кичился перед моим образом действий.

— Бог свидетель, что...

— Да бросьте вы ваши заверения! — снова перебил его Жюлиус. — Бог здесь не при чем. Я именно и стараюсь вам объяснить, что когда я говорю, что ваш образ действий был близок к возмущению... то я разумею: к моему возмущению; и именно это я ставлю вам в вину: мирясь с несправедливостью, вы предоставляете другому возмущаться вместо вас. Вы сейчас увидите, насколько я был прав, когда возмущался.

У Жюлиуса выступил пот на лбу, он снял цилиндр и положил его на колени.

— Хотите, я открою окно? — и Антим предупредительно опустил стекло рядом с собой.

— Как только я прибыл в Рим, — продолжал Жюлиус, — я ходатайствовал об аудиенции. Меня приняли. Моим стараниям суждено было увенчаться своеобразным успехом...

— Вот как? — равнодушно произнес Антим.

— Да, мой друг. Потому что если я и не добился того, о чем просил, то зато из этого посещения я вынес уверенность... ограждающую нашего святого отца от всех тех оскорбительных подозрений, которые у нас были на его счет.

— Бог свидетель, что у меня никогда не было никаких оскорбительных мыслей о нашем святом отце.

— А у меня были, за вас. Я видел, что вас обижают; я возмущался.

— Не отвлекайтесь, Жюлиус: вы видели папу?

— В том-то и дело, что нет! Папу я не видел, разразился, наконец, Жюлиус, — но я узнал одну тайну; тайну вначале сомнительную, но которая затем, благодаря смерти нашего дорогого Амедея, получила неожиданное подтверждение; тайну ужасную, невероятную, но в которой наша вера, дорогой Антим, сумеет найти опору. Ибо знайте: в этом неправосудии, жертвой

которого вы стали, папа неповинен...

— Да я в этом никогда и не сомневался.

— Антим, слушайте меня внимательно: я не видел папу, потому что его никто не может видеть; тот, кто сейчас восседает на святейшем престоле, тот, кому повинуется церковь и кто повелевает; тот, кто со мной говорил, этот папа, которого можно видеть в Ватикане, папа, которого видел и я, — ненастоящий.

При этих словах Антим весь затрясся от громкого смеха.

— Смейтесь! Смейтесь! — обиженно продолжал Жюлиус. — Сначала я тоже смеялся. Если бы я меньше смеялся, Флериссуар не был бы убит. Ах, святой друг! Кроткая жертва!..

Его голос заглушали рыдания.

— Послушайте: это вы серьезно говорите?.. Но позвольте!.. Но позвольте!.. Но позвольте!.. — заговорил Арман-Дюбуа, обеспокоенный пафосом Жюлиуса. — Ведь как-никак следовало бы знать...

— Он потому и умер, что хотел знать.

— Потому что, согласитесь сами, если я не пожалел своего имущества, своего положения, своей науки, если я согласился на то, чтобы меня обобрали... — продолжал Антим, который тоже начинал горячиться.

— Я же вам говорю: во всем этом настоящий неповинен; тот, кто вас обобрал, это — ставленник Квиринала...

— Я должен верить тому, что вы говорите?

— Если вы не верите мне, верьте этому бедному мученику.

Некоторое время они молчали. Дождь перестал; сквозь тучу пробился луч. Карета, медленно покачиваясь, въезжала в Рим.

— В таком случае я знаю, что мне делать, — вдруг заговорил Антим самым решительным голосом. — Я разглашу.

Жюлиус вздрогнул.

— Мой друг, вы меня пугаете. Вас же, несомненно, отлучат.

— Кто? Если лже-папа, так мне наплевать.

— А я-то думал, что помогу вам найти в этой тайне утешающую силу, — уныло продолжал Жюлиус.

— Вы шутите?.. А кто мне поручится, что Флериссуар, явившись в рай, не убедится совершенно так же, что его господь бог тоже не настоящий?

— Послушайте, дорогой Антим! Вы заговариваетесь. Как будто их может быть два! Как будто может быть другой!

— Вам, конечно легко говорить, вам, который ничем для него не пожертвовал; вам, которому и настоящий, и ненастоящий — все впрок... Нет, знаете, мне необходимо освежиться...

Высунувшись в окно, он тронул палкой плечо кучера и велел остановиться. Жюлиус хотел выйти следом за ним.

— Нет, оставьте меня! Я услышал достаточно, чтобы знать, как себя вести. Остальное поберегите для романа. Что касается меня, то я сегодня же пишу гроссмейстеру Ордена и завтра же сажусь за начатую статью для «Телеграфа». Мы еще посмеемся.

— Что это? Вы хромаете? — воскликнул Жюлиус, с удивлением видя, что тот снова припадает на ногу.

— Да, вот уже несколько дней, как у меня возобновились боли.

— Ах, так вот оно что! — сказал Жюлиус и, не глядя на него, откинулся в угол кареты.

Собирались ли Протос донести на Лафкадио полиции, как он грозил? Я не знаю: дальнейшее доказало, впрочем, что среди этих господ он насчитывал не одних только друзей. Они же, осведомленные накануне Каролой, устроили на викола деи Веккьерелли засаду; они давно уже были знакомы с этим домом и знали, что из верхнего этажа легко перебраться в соседний дом, выходы из которого они заняли также.

Альгвазилов Протос не боялся; его не страшили ни обвинение, ни судебная машина; он знал, что изловить его трудно, потому что, в сущности, за ним не числилось никаких преступлений, а всего лишь настолько мелкие правонарушения, что придраться к ним нельзя было. Потому он не слишком испугался, когда понял, что он окружен, а понял он это сразу же, ибо на этих господ, в каком бы они ни явились наряде, у него был особый нюх.

Разве что немного озадаченный, он заперся в комнате Каролы, дожидаясь ее возвращения; со времени убийства Флериссуара он ее не видел и хотел посоветоваться с ней и дать ей кое-какие указания на тот случай, вполне вероятный, если его засадят.

Карола, между тем, считаясь с желанием Жюлиуса, на кладбище не появлялась; никто не знал, что скрытая надгробным памятником и дождевым зонтиком, она издали присутствовала при печальном обряде. Она подождала, терпеливо и смиренно, пока станет пусто вокруг свежей могилы; она видела, как шествие тронулось в обратный путь, как Жюлиус сел рядом с Антимом и кареты удалились, под мелким дождем. Тогда подошла к могиле и она, достала из-под косынки большой букет астр и положила его в стороне от семейных венков; затем долго стояла под дождем, ничего не видя, ни о чем не думая, и, не умея молиться, плакала.

Возвращаясь на викола леи Веккьерелли, она, правда, заметила на пороге две необычных фигуры; но что дом охраняется, она не сообразила. Ей не терпелось увидеть Протоса; не сомневаясь в том, что он и есть убийца, она его ненавидела теперь...

Через несколько минут полиция сбежалась на ее крики; увя, слишком поздно! Узнав, что она его выдала, разъяренный Протос задушил Каролу.

Это было в полдень. Известие об этом появилось уже в вечерних газетах, а так как на Протосе нашли срезанный со шляпы лоскуток кожи, то в его двойной виновности никто не сомневался.

Лафкадио, между тем, пребывал до вечера в состоянии какого-то ожидания или неопределенного страха, не то чтобы перед полицией, которою ему грозил Протос, а перед самим Протосом или перед чем-то таким, против чего он уже и не старался защищаться. Им овладело какое-то непонятное оцепенение, быть может просто усталость; он был согласен на все.

Накануне он видел Жюлиуса только мельком, когда тот, по прибытии неаполитанского поезда, принимал покойника; затем долго ходил по городу, куда глаза глядят, чтобы дать исход раздражению, которое в нем возникло после разговора в вагоне от сознания собственной зависимости.

А в то же время известие о том, что Протос арестован, не принесло Лафкадио того облегчения, какого он мог бы ждать. Он был как будто разочарован. Станный человек! Насколько решительно он не желал извлекать никакой материальной выгоды из своего преступления, настолько же неохотно он отказался от риска, связанного с этой игрой. Он не мирился с тем, что она уже кончена. Как когда-то в шахматы, он был бы рад отдать противнику ладью, и, словно этот неожиданный поворот дела слишком облегчал ему выигрыш и лишал партию всякого интереса, он чувствовал, что не успокоится, пока не рискнет еще.

Он пообедал в ближайшей трагтории, чтобы не надевать фрака. Вернувшись вслед затем в отель, он увидел сквозь стеклянную дверь ресторана графа Жюлиуса, сидящего за столом в обществе жены и дочери. Его поразила красота Женевьевы, которой он не видал ни разу после первого своего посещения. Он остался сидеть в курительной комнате, дожидаясь, пока кончится обед, как вдруг ему пришли сказать, что граф прошел к себе в комнату и ждет его.

Он вошел. Жюлиус де Баральюль был один; он уже успел облечься в пиджак.

— Ну вот! убийца пойман, — встретил он его, подавая ему руку.

Но Лафкадио ее не взял. Он стоял в дверях.

— Какой убийца? — спросил он.

— Как какой? Убийца моего beau-frere'a!

— Убийца вашего beau-frere'a, это — я.

Он сказал это, не дрогнув, не меняя тона, не понижая голоса, не шевельнувшись, и так естественно, что Жюлиус сперва не понял. Лафкадио пришлось повторить:

— Убийца вашего beau-frere'a, говорю я, не мог быть арестован по той причине, что убийца вашего beau-frere'a, это — я.

Будь у Лафкадио вид душегуба, Жюлиус, быть может, испугался бы; но к нему был вид ребенка. Он казался даже еще моложе, чем в тот раз, когда Жюлиус увидал его впервые; его взгляд был так же светел, голос так же ясен. Он затворил дверь, но остался стоять, прислонясь к ней. Жюлиус, возле стола, тяжело опустился в кресло.

— Несчастное дитя! — начал он. — Говорите тише!.. Что с вами случилось? Как вы могли это сделать?

Лафкадио опустил голову, уже сожалея о сказанном.

— Почему я знаю? Я сделал это очень быстро, пока мне хотелось.

— Что вы имели против Флериссуара, этого достойного человека, таких прекрасных качеств?

— Я не знаю. У него был жалкий вид... Как вы хотите, чтобы я вам объяснил то, чего сам себе не могу объяснить?

Между ними росло тягостное молчание, изредка разбиваемое их словами и снова смыкавшееся, чтобы стать еще глубже; тогда из холла гостиницы доносились волны банального неаполитанского мотива. Жюлиус скреб заостренным и длинным ногтем мизинца стеариновое пятнышко на скатерти стола. Вдруг он заметил, что этот красивый ноготь сломан. То была поперечная трещина, от которой во всю ширину потускнел тельный цвет самоцвета. Когда это могло случиться? И как это он раньше не обратил внимания? Как бы там ни было, несчастье было непоправимо; Жюлиусу ничего не оставалось, как только срезать. Это огорчило его чрезвычайно, потому что он очень заботился о своих руках и, в частности, об этом ногте, который он долго отращивал и который придавал большую прелесть пальцу, оттеняя его изящество. Ножницы лежали в ночном столике, и Жюлиус уже собрался встать, чтобы достать их, но тогда ему пришлось бы пройти мимо Лафкадио; полный такта, он решил отложить эту деликатную операцию.

— И... что же вы намерены теперь делать? — спросил он.

— Не знаю. Может быть явлюсь с повинной. Я даю себе ночь на размышление.

Жюлиус уронил руку на кресло; он посмотрел на Лафкадио; затем разочарованно вздохнул:

— А я-то начинал вас любить!..

Это было сказано без всякого злого умысла. Лафкадио это понимал. Но хоть и бессознательная, эта фраза все же была жестокой и кольнула его прямо в сердце. Он поднял голову, борясь с внутренней мукой, которая вдруг охватила его. Он взглянул на Жюлиуса:

«Неужели это тот самый человек, который еще вчера казался мне почти братом?» — думал он. Он обвел глазами эту комнату, где еще третьего дня, несмотря на содеянное им преступление, он так весело беседовал; флакон с одеколоном все еще стоял на столе, почти пустой...

— Послушайте, Лафкадио, — продолжал Жюлиус. — Ваше положение не представляется мне таким уж безнадежным. Предполагаемый виновник преступления...

— Да, я знаю, он арестован, — сухо прервал его Лафкадио. — Уж не посоветуете ли вы мне дать осудить вместо себя невинного?

— Тот, кого вы называете невинным, убил сегодня женщину, которую вы знали даже...

— И это меня устраивает, не так ли?

— Я этого не говорю, но...

— Добавим, что это, к тому же, единственный человек, который мог бы меня выдать.

— Не всякая надежда потеряна, вы сами видите.

Жюлиус встал, подошел к окну, поправил складку штор, вернулся на прежнее место и, нагнувшись, оперся скрещенными руками о спинку кресла, на котором он перед тем сидел:

— Лафкадио, я не хочу вас отпускать, не дав вам совета: от вас самих зависит, я в этом убежден, сделаться снова честным человеком и занять в обществе то место, которое совместимо с вашим происхождением... На то, чтобы вам помочь, существует церковь. Послушайте, дитя мое: соберитесь с духом — пойдите исповедаться.

Лафкадио не мог скрыть улыбки.

— Я обдумую ваши любезные слова.

Он сделал шаг вперед, потом:

— Вы, должно быть, предпочли бы не касаться руки убийцы. Но все-таки мне хочется поблагодарить вас за ваше...

— Хорошо! хорошо! — сказал Жюлиус, делая сердечный, но сдержанный жест. — Прощайте, дитя мое. Я не решаюсь сказать вам до свидания. Но если, когда-нибудь, вы...

— Пока вам нечего больше мне сказать?

— Пока нечего.

— Прощайте.

Лафкадио медленно поклонился и вышел.

Он вернулся к себе в комнату, этажом выше. Он полуразделся, бросился на кровать. Вечер был очень душен; ночь не принесла пролады. Окно было раскрыто настежь, но в воздухе не было ни малейшего ветерка; отдаленные электрические фонари пиацца делле Терме, по ту сторону сада, наполняли комнату голубоватым, рассеянным светом, словно от луны. Он пытался размышлять, но какое-то странное оцепенение сковало его мысли; он уже не думал ни о своем преступлении, ни о том, как спастись; он старался только не слышать больше ужасных слов Жюлиуса: «Я начинал вас любить»... Если сам он не любит Жюлиуса, то стоят ли слез эти слова? Неужели потому-то он и плачет?.. Ночь была такая тихая; ему казалось, что, стоит только не бороться, и можно умереть. Он взял графин с водой, стоявший возле кровати, смочил платок и приложил к наболевшему сердцу.

«Уже ни один напиток на свете не освежит это иссохшее сердце!» — думал он, давая слезам стекать на губы и впивая их горечь. В ушах у него пели стихи, которые он читал когда-то, но не знал, что помнит их:

My heart aches; a drowsy numbness pains

My senses... [\[21\]](#)

Он задремал.

Или это ему приснилось? Как будто кто-то постучал в дверь? Дверь, которую он никогда не запирает на ночь, медленно открывается и пропускает хрупкий белый облик. Он слышит тихий зов:

— Лафкадио... Вы здесь, Лафкадио?

Сквозь полудремоту Лафкадио все же узнает этот голос. Но, быть может, он еще сомневается в подлинности милого явления? Боится спугнуть его словом, движением?.. Он молчит.

Женевьева де Баральюль, чья комната была рядом с комнатой отца, невольно слышала весь разговор между графом и Лафкадио. Невыносимая тревога привела ее в его комнату, и так как ее зов остался без ответа, то, не сомневаясь больше, что Лафкадио покончил с собой, она бросилась к изголовью и, рыдая, упала на колени.

Пока она так рыдала, Лафкадио приподнялся, склонился над ней совсем близко, все еще не смея коснуться губами прекрасного лба, белевшего в темноте. И Женевьева де Баральюль почувствовала, что вся ее воля исчезает; откинув лоб, уже ласкаемый его дыханием, и не зная, у кого искать защиты, как не у него же:

— Пожалейте меня, мой друг, — сказала она.

Лафкадио тотчас же опомнился и, отстраняясь от нее и в то же время ее отталкивая:

— Встаньте, мадмуазель де Баральюль! Уйдите! Я не могу... я уже не могу быть вашим другом.

Женевьева встала, но не отошла от постели, на которой полулежал тот, кого она считала мертвым, и, нежно касаясь горячего лба Лафкадио, словно, чтобы убедиться, что он жив:

— Но, мой друг, я слышала все, что вы говорили сегодня отцу. Разве вы не понимаете, что поэтому я и пришла?

Лафкадио, полупривстав, смотрел на нее. Ее распущенные волосы спадали ей на плечи; все лицо ее было в тени, так что он не видел ее глаз, но чувствовал, как его окутывает ее взгляд. Словно не в силах вынести его нежность, он закрыл лицо руками.

— Ах, отчего я встретился с вами так поздно! — простонал он. — За что вы меня любите? Зачем вы так со мной говорите, когда я уже не в праве и недостойн вас любить!

Она печально возразила:

— Я ведь к вам пришла, Лафкадио, и не к кому иному. К преступнику, Лафкадио! Как часто я шептала ваше имя с того самого дня, когда вы мне предстали как герой, даже чересчур уж смелый... Теперь вы должны знать: я втайне обрекла себя вам уже в ту минуту, когда вы проявили на моих глазах такое самопожертвование. Что же такое произошло с тех пор? Неужели вы убили? Что вы с собой сделали?

Лафкадио молча качал головой.

— Я слышала, отец говорил, что арестовали кого-то другого, — продолжала она, — бандита, который совершил убийство... Лафкадио! Пока еще не поздно, спасайтесь, уезжайте сегодня же ночью! Уезжайте.

Тогда Лафкадио прошептал:

— Я не могу.

И, чувствуя, как распущенные волосы Женевьевы касаются его рук, он схватил их, страстно прижимая к глазам, к губам:

— Бежать! И это ваш совет? Но куда я могу теперь бежать? И, если даже я спасусь от полиции, от самого себя не спастись... И потом, вы будете меня презирать, если я убегу.

— Я! Презирать вас, мой друг...

— Я жил, ничего не сознавая; я убил, как во сне, как в кошмаре, от которого уже не могу

очнуться...

— Из которого я хочу вас вырвать, — воскликнула она.

— Зачем меня будить, если я проснусь преступником? — Он схватил ее за руку: — Разве вы не понимаете, что я не вынесу безнаказанности? Что мне осталось, как не дожидаться утра и сознаться во всем?

— Вы должны сознаться богу, не людям. Если бы мой отец вам этого сам не сказал, я бы сказала то же. Лафкадио, есть церковь, которая укажет вам вашу кару и поможет вам обрести мир через ваше раскаяние.

Женевьева права; и, разумеется, для Лафкадио нет лучшего выбора, чем удобное послушание; рано или поздно, он в этом убедится, как и в том, что все остальные пути ему заказаны... Досадно, что первый ему так посоветовал эта шляпа, Жюлиус!

— Чему это вы меня учите? — говорит он с оттенком неприязни. — Неужели это вы так говорите?

Он выпускает и отталкивает ее руку; и, когда Женевьева отходит от него, он чувствует, как в нем растет, вместе с какой-то злобой против Жюлиуса, желание разлучить Женевьеву с отцом, он видит ее голые ноги в шелковых туфельках.

— Неужели вы не понимаете, что меня страшит не раскаяние, а...

Он встал с постели; он отвернулся от Женевьевы; он подходит к окну; ему душно; он прикидывает лбом к стеклу и горячими ладонями к холодному железу перил; ему хотелось бы забыть, что он тут, что он рядом с ней...

— Мадмуазель де Баральюль, вы сделали для преступника все, что может сделать молодая девушка из хорошей семьи, если даже не больше; я вас благодарю от всей души. Теперь вам лучше меня оставить. Возвращайтесь к вашему отцу, к вашим привычкам, к вашим обязанностям... Прощайте. Как знать, увижу ли я вас еще когда-нибудь? Помните, что только для того, чтобы быть немного менее недостойным вашего доброго отношения ко мне, я завтра сознаюсь во всем. Помните, что... Нет, не подходите ко мне!.. Или вы думаете, что мне было бы довольно рукопожатия?..

Женевьева не побоялась бы отцовского гнева, мнения света и его презрения, но перед этим ледяным тоном Лафкадио она теряет мужество. Неужели же он не понял, что если она пришла вот так, ночью, говорить с ним, сознаться ему в своей любви, то, значит, и в ней тоже есть и решимость, и отвага, и ее любовь стоит, пожалуй, побольше, чем простая благодарность?.. Но как она ему скажет, что и она тоже до этого дня металась словно во сне, — во сне, от которого пробуждалась на миг только в больнице, где, среди несчастных детей, когда она перевязывала их настоящие раны, ей иногда казалось, что она, наконец, касается какой-то действительности, — в жалком сне, где металась рядом с ней ее родители и высились все нелепые условности их среды; что она никогда не могла принять всерьез ни их жестов, ни их мнений, идеалов и принципов, ни даже их самих. Что же удивительного, если и Лафкадио не принял всерьез Флериссуара!.. Разве они могут так расстаться? Любовь ее толкает, кидает к нему. Лафкадио хватает ее, прижимает к себе, покрывает ее бледный лоб поцелуями...

Здесь начинается новая книга.

О осязаемая правда желаний! Ты оттесняешь в полумглу призраки моего воображения.

Мы покинем наших любовников в этот час, когда поет петух и свет, тепло и жизнь одолевают ночь. Лафкадио приподымается рядом со спящей Женевьевой. Но не прекрасное лицо своей возлюбленной, не этот влажный лоб, не эти перламутровые веки, не эти полураскрытые, горячие губы, не эти безупречные груди, не это утомленное тело, нет, не их созерцает он, а — за настесь раскрытым окном — зарю, где трепещет садовое дерево.

Скоро Женевьеве надо будет его покинуть; но еще он ждет; он прислушивается, склоняясь

над ней, сквозь ее тихое дыхание, к неясному шуму города, уже очнувшегося от дремоты. Вдали, в казармах, звенит труба. Как? Неужели он откажется от жизни? И ради уважения Женеьевы, которую он уважает чуть-чуть меньше с тех пор, как она его любит чуть-чуть больше, неужели он все еще хочет сознаться во всем?

notes

Здесь начинается книга нового искусства и высшей доблести.

Столько, сколько можно отрезать. Боккачьо.

Укол

Прежде всего необходимо знать, кто это такой.

Но как знать, жив ли он еще?

Надо приручить эту новую мысль.

Пора спускать корабль.

Отчет об освобождении его святейшества Льва XII, заточенного в темницы Ватикана (Сен-Мало, типография Биллуа, улица д'Орм, 4), 1893.

Фамилия Peterat однозвучна, с малоизящной глагольной формой. (Прим. перев.)

«Пластический римский картон, — гласил прейскуронт, — недавно изобретенный и изготовляемый по особому способу, составляющему секрет фирмы Блафафас, Флериссуар и Левишон, обладает большими преимуществами перед каменным картоном, стюковым картоном и другими аналогичными составами, применение которых ярко доказало всю их непригодность». (Следовало описание различных образцов.)

Принято говорить: grazie (мн.ч.)

Саве — по-французски: погреб, подвал, подземелье.

Ничего! Ничего!

Бутыли.

Прочь! Прочь!

Сделал тот, кому это выгодно.

Сыночек! Дорогой!

Юнец.

Беззаконный.

Два ястреба в воздухе, две рыбы, плавающие в море, не были более незаконны, чем мы.

Так больно сердцу; чувства оковала
Тупая мука...